

Ж. ЯНОВСКАЯ

ПЕРВЫЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Annotation

Эта книга о передовых людях шестидесятых годов прошлого столетия, о русских женщинах, первых борцах за равноправие, о деятелях Русской секции I Интернационала. Первые женщины — это врач Надежда Суслова, математик Софья Ковалевская, юрист Жанна Евреинова, химик Юлия Лермонтова, революционерки Анна Круковская, Елизавета Томановская, Екатерина Бартенева. Они лучшие представители русского общества, о них эта повесть.

-
-
- ○ [ГЛАВА II](#)
- [ГЛАВА III](#)
- [ГЛАВА IV](#)
- [ГЛАВА V](#)
- [ГЛАВА VI](#)
- [ГЛАВА VII](#)
- [ГЛАВА VIII](#)
- [ГЛАВА IX](#)
- [ГЛАВА X](#)
- [ГЛАВА XI](#)
- [ГЛАВА XII](#)
- [ГЛАВА XIII](#)
- [ГЛАВА XIV](#)
- [ГЛАВА XV](#)
- [ГЛАВА XVI](#)
- [ГЛАВА XVII](#)
- [ГЛАВА XVIII](#)
- [ГЛАВА XIX](#)
- [ГЛАВА XX](#)
- [ГЛАВА XXI](#)

- [ГЛАВА XXII](#)
- [ГЛАВА XXIII](#)
- [ГЛАВА XXIV](#)
- [ГЛАВА XXV](#)
- [ГЛАВА XXVI](#)
- [ГЛАВА XXVII](#)
- [ГЛАВА XXVIII](#)
- [ГЛАВА XXIX](#)
- [ГЛАВА XXX](#)
- [ГЛАВА XXXI](#)
- [ГЛАВА XXXII](#)
- [ГЛАВА XXXIII](#)
- [ГЛАВА XXXIV](#)
- [ГЛАВА XXXV](#)

-
-

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
-



Ж. ЯНОВСКАЯ

ПЕРВЫЕ

...Только для тех сохраним наше удивление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зарю грядущего дня, имели мужество приветствовать его приход.

Н. Чернышевский



ГЛАВА I

Большой пароход подходил к петербургской пристани. Вот уже показались вдали портовые сооружения, баржи и суда, стоящие на рейде.

Пассажиры высыпали на палубы. Здесь была самая разнообразная публика: русские и иностранные купцы, фабриканты, коммивояжеры, дипломаты, туристы. Всем хотелось быстрее попасть на берег. Но особенно не терпелось ступить на родную землю русским. Скоро, сейчас пароход подойдет к причалу!

Как вдруг что-то случилось. От берега отделился катер и на всех парах пошел к пароходу. С катера сигналили флажками.

Пароход стал сбавлять ход и вскоре совсем остановился. На катере видны были мундиры жандармов.

— Осчастливили прибытием, — негромко сказал плотный мужчина с бакенбардами. — Давно я не видел сих славных мужей.

— А что им надобно? — откликнулся сосед.

— Значит, ищут политического. Вот так едет, разговаривает, думаешь, честный человек, а на деле оказывается смутьян. Вы как полагаете? — спрашивает щупленький пожилой коммерсант у невысокого молодого человека с русой бородкой, смотревшего на подходивший катер.

— Совершенная истина, — отвечает молодой человек.

Катер причаливает к пароходу. Синие мундиры уже на палубе. Начинается обыск.

Молодой ротмистр с тонкими закрученными вверх усиками сегодня особенно зол. Проклятые пароходы из Лондона! Каждый раз их осматривают и ничего не находят. А герценовские листки появляются то тут, то там, словно сваливаются с неба.

Не далее как на прошлой неделе в библиотеке на Невском взяли молодчика, который вслух читал последний номер «Колокола». Где он мог его достать? Сам шеф жандармов князь Долгоруков вызывал к себе ротмистра и дал ему хороший нагоняй.

Ротмистр подходит то к одному, то к другому жандарму, приказывает тщательнее искать, сам везде смотрит. Жандармы роются в сундучках, вытряхивают чемоданы.

— О, майн готт! Я чесни челофек. Зашем это? — сердится какой-то немец.

— Как же, как же, пожалуйста, милости просим, — говорит щуплый коммивояжер, угодливо открывая большую картонную коробку. В коробке образцы разной галантереи — подтяжки, гребенки, галстуки, носки. — Это, извольте ли видеть... — пытается объяснить коммивояжер.

Ротмистр не слушает. Поворошил в коробке и отошел к молодому человеку с русой бородкой.

— Прошу открыть! — говорит он, указывая на чемодан.

Сверху в чемодане сорочки, белье, внизу несколько книг, но все дозволенные. Сбоку у стенки лежит сверток, тщательно упакованный в белую бумагу и перевязанный ленточкой.

— Что здесь? — спрашивает ротмистр.

— Это в некотором роде художественное произведение. Бюст того, кто всегда поражал наше воображение... Купил в антикварной лавке. Был удивлен сходством... Все же иностранный мастер. Но такое проникновение в характер... — объясняет молодой человек, доставая сверток.

Он развязывает ленточку, развертывает бумагу, синий коленкор, слои ваты. Пассажиры с любопытством поворачивают головы. Щуплый коммивояжер вытягивает тощую шею. Из-за спины ротмистра выглядывает жандарм.

Наконец снят последний слой — и из-под вороха оберток появляется гипсовая голова. Дородное лицо с пышными усами и бакенбардами холодно и надменно. Военный мундир с орденами. На плечах эполеты.

Все узнают покойного императора Николая I.

— Его императорское величество, — почтительно говорит жандарм и вытягивается в струнку.

— Как живой... — подобострастно шелестит коммивояжер.

— Хорошо поставить на письменном столе, — замечает еще кто-то.

Ротмистр взял бюст в руки, осмотрел со всех сторон и отдал. Молодой человек стал бережно завертывать попку опять во все слои ваты и коленкора, обвязывать ленточкой.

«Видно, предан царю и отечеству. И теперь не все брандахлысты», — подумал жандармский офицер. Он еще раз окинул взглядом чемодан, постучал по дну — и пошел дальше.

Жандармы осматривают каюты, палубу, кубрики, трюм и даже кочегарку. Крамольной литературы нигде не обнаружено.

Капитан, довольный, что все обошлось благополучно, командует:

— Малый вперед!

Разрезая грудью волны, пароход, уже теперь беспрепятственно, направляется к берегу.

«Я иду-у!» — гудит он басом.

Толпа встречающих с нетерпением топчется на пристани. Вот уже можно различить лица, букеты цветов в руках. Кто-то машет платком, кричит, сложив ладони рупором.

Пароход подходит к причалу.

Молодой человек с русой бородкой одним из первых сбегает по трапу и смешивается с пестрой толпой на пристани.

Вечером молодой человек подошел к роскошному особняку на Галерной улице. Здесь жил известный петербургский богач Исаак Осипович Утин.

Двери отворил важный камердинер.

— Мне к Николаю, — сказал молодой человек.

— Как прикажете доложить?

— Скажите, Станислав.

Камердинер неодобрительно посмотрел на пришедшего. Ох, уж эта теперешняя молодежь! Никакой порядочности. Ни тебе фамилии не скажут, ни звания. То ли было раньше — пожалуйста визитную карточку с золотым обрезом!

Что-то ворча себе под нос, камердинер уходит. И почти тотчас же в двери показывается среднего роста худощавый юноша с высоким лбом и расчесанными на пробор густыми черными волосами. Бакенбарды, бородка, над полными губами небольшие, аккуратно подстриженные усы.

— Здравствуй, Коля!

— Стасик, друг! Проходи скорей! Как хорошо, что ты приехал! А мы тут сегодня собрались... — говорит Николай, как-то по-детски широко и чуть застенчиво улыбаясь. Карие глаза и все лицо его светятся радостью.

Обняв друга, он ведет его в свою комнату.

Сизый табачный дым плавает в воздухе. На столе, покрытом белоснежной скатертью, — самовар, тарелки с закусками. Кто-то сидит у стола, другие разбрелись по комнате. Артиллерийский офицер с крупными чертами лица и усами, опущенными вниз, стоя у окна, о чем-то спорит с высоким молодым человеком.

— Смотрите, кого я привел! — говорит Николай Утин.

— Ура, Волынский!

— Путешественник вернулся!

Гостя усаживают за стол, пододвигают к нему закуски.

Станислав здесь всех знает. Вот этот широкоплечий, статный молодой человек с открытым лбом и крутым подбородком — студент университета Евгений Михаэлис. Смелый и решительный, он всегда во главе всех студенческих дел. Рядом с ним тоненькая девушка с длинными косами, его сестра, Маша Михаэлис. А это братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи, оба честные, прямые и бесстрашные. «Последний маркиз Поза», — сказал про Николая Герцен, узнав, что он однажды пробрался в сад к царю и смело подал записку о преобразовании России, составленную и подписанную им самим.

Там, у окна, полковник Артиллерийской академии Петр Лаврович Лавров, профессор, математик и философ. Он пользуется доверием и любовью у молодежи. Все знают, что в «Колоколе» часто появляются его корреспонденции, разоблачающие правительство. Возле него Александр Слепцов, умный и осторожный. Тут же его однофамилец, писатель

Василий Слепцов, сотрудник журнала «Современник». Про него рассказывают, что он еще в ранней юности отличился дерзким поступком.

Когда в переполненной церкви дворянского института, где он воспитывался, все читали молитву «Верую во единого бога», он внезапно взошел на амвон и громко сказал: «А я не верую!» — за что был исключен из института и только из особой милости к отцу не предан суду.

Здесь еще две девушки — Наташа Корсини и Надя Сулова. У Наташи строгое лицо, темные глаза, черные блестящие волосы, подстриженные и собранные под сетку. Она — дочь известного архитектора. Надя совсем другая. Лицо у нее немного монгольское, широкоскулое, внимательные, с упряминкой серые глаза, вокруг головы темно-русые косы. Отец Нади в прошлом крепостной крестьянин, но Надя умна и начитана.

Станислав давно не видел друзей — на каникулы он уезжал за границу, побывал в Лондоне, и теперь хотел поскорей узнать, что слышно в Петербурге, в университете, где он учился. Накануне каникул ходили слухи о каких-то новых правилах, которые будут введены с начала учебного года. Но слухи были неясные, никто толком ничего не знал.

— Мы и сейчас еще ничего не знаем, хотя осталось три дня до начала занятий. Говорят о каких-то матрикулах, о запрещении сходок, — сказал Михаэлис.

— Ты забыл самое главное — о том, что теперь несостоятельные студенты не будут освобождаться от платы за обучение и не смогут учиться, а их у нас большинство, — заметил Утин.

— Одним словом, возвращаемся к режиму незабвенного императора Николая Первого. Не хватает только опять ввести муштру, — сказал Николай Серно-Соловьевич.



— Нам нужно объединиться и бороться против установления новых правил. Для руководства всеми действиями создать негласный комитет. Я говорил с Николаем Гавриловичем, он одобряет эту мысль, — снова сказал Евгений.

— Это правильно. Но что мы все говорим о наших делах. Рассказывайте, Волынский, что слышно в Лондоне. Как поживает Герцен, Огарев? — спросил Лавров.

— Александр Иванович шлет всем привет. А вам, Петр Лаврович, благодарность за последнюю статью.

— А не привезли ли вы нам чего-нибудь интересного? — спрашивает Маша Михаэлис.

— Привез! — отвечает Станислав и берет саквояж, который он принес с собой и поставил на стул у двери.

Стасик открывает саквояж, достает оттуда гипсовый бюст и ставит его посреди стола. Все смотрят на холеное белое лицо с надменным властным взглядом и не понимают, в чем дело, зачем здесь Николай I?

— Не нравится подарок? — спрашивает, чуть улыбаясь, Стасик. — Тогда расправимся с ним сейчас!

Глаза его принимают жесткое выражение.

— Это за декабристов! — говорит он и с размаху ударяет кулаком по гипсовой голове.

— А это за поляков! — и он ударяет еще раз.

Но голова стоит неколебимо.

— Нет, для его императорского твердолобия, видно, надо что-то покрепче. Коля, дай мне вон то пресс-папье.

— Теперь на минуту закрыть глаза! — командует Стасик. «Раз!» — раздается удар пресс-папье. Гипс разлетается вдребезги.

На обломках императорской головы лежат листы газеты.

— «Колокол»! — восклицают все сразу. — «Колокол»! — повторяют они еще раз с удивлением, любовью и нежностью.

Это их «Колокол», детище Герцена и Огарева, которого больше огня боится царское правительство, который провозят из-за границы, рискуя жизнью, который вот уже с 1857 года звонит, гудит, зовет русский народ на борьбу.

И он гудеть не перестанет,
Пока — спугнув ночные сны —
Из колыбельной тишины
Россия бодро не воспрянет
И крепко на ноги не станет,
И непорывисто смела —
Начнет торжественно и стройно,
С сознанием доблести спокойной

Звонить во все колокола, —

было написано на первой странице первого номера «Колокола». И дальше из номера в номер шел эпиграф: «Vivos voco!» — «Зову живых!»

О, они все хотят быть в числе живых!

— Как ты сумел, Стасик! Как замечательно сделано! — восторгаются все.

— Еще двадцать таких же шедевров искусства с такой же начинкой находятся в пути, следуют поездом.

— Никогда не думала, что в голове у Николая Первого может быть столько мыслей! — смеется Наташа Корсини.

— И каких мыслей! — говорит Саша Слепцов. — Нужно будет переписать экземпляры и передать в университет медикам, технологам.

— Может быть, удастся перепечатать.

— Но давайте почитаем.

Они садятся ближе к свету. Лавров берет «Колокол».

«Что нужно народу?» — стояло в заголовке. «Очень просто, народу нужна земля да воля», — отвечал «Колокол». «...Молча собирайтесь с силами, искать людей преданных... чтоб можно было умно, твердо, спокойно, дружно и сильно отстаивать, против царя и вельмож, землю мирскую, волю народную да правду человеческую».

...Было уже за полночь, когда они стали расходиться. Кто-то вполголоса затянул студенческую песню:

Нелюдимо наше море
День и ночь шумит оно...

Все подхватили. И вот она льется под сводами комнаты, приглушенная, скованная, но со словами,

зовущими в бой.

Будет буря! Мы поспорим
И поборемся мы с ней!

ГЛАВА II

Длинный университетский коридор гудел, как потревоженный улей. Студенты стояли группами возле окон, посреди коридора, прохаживались. То тут, то там слышались возмущенные возгласы.

— Четвертый день уже идут занятия, а мы еще не знаем, что за новые правила! Может быть, их вовсе не существует?

— Как же! Я сам тихонько подсмотрел в деканате. Под пунктом девять там значится плата за обучение.

— Просто не успели еще отпечатать свои матрикулы, вот и не говорят.

— Надо нам бороться с новыми правилами, будем игнорировать их, не признавать.

По коридору пробежали двое студентов.

— На сходку, господа, на сходку!

— На сходку! — зашумели вокруг. — Там обо всем потолкуем и решим!

— Пригласить надо попечителя, пусть объяснит!

Но попечитель генерал Филипсон, несмотря на просьбы студентов, явиться не счел нужным.

Сходки продолжались и на другой, и на третий день.

23 сентября в вестибюле появилось воззвание:

«Мы — легион, потому что за нас здравый смысл, общественное мнение, литература, профессора, бесчисленные кружки свободомыслящих людей, лучшее, передовое за нас. Нас много, более даже, чем шпионов. Стоит только показать, что нас много. Главное — бойтесь разногласий и не трусьте решительных мер. Имейте в голове одно: стрелять в нас не смеют — из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт».

Студенты читали воззвание и шли в актовый зал, на сходку. Но двери актового зала оказались запертыми.

Были закрыты все пустые аудитории.

Огромная толпа студентов топталась в коридоре. Появился инспектор Шмидт.

— Господа, прошу разойтись! Сходки запрещены!

— Почему? Мы хотим выяснить, что за новые правила. Пусть придет попечитель.

— В свое время вам будет все разъяснено. И выданы матрикулы.

— Не признаем матрикулов! Не будем платить за обучение!

— Свободу сходкам!

Под напором толпы затрещала дверь актового зала. Еще рывок — и она рухнула внутрь. Лавина студентов ворвалась в зал.

На кафедре взбежал Николай Утин.

— Друзья! Новые правила существуют. Они будут введены на днях. Это факт, который не подлежит сомнению. Нам нужно сомкнуть свои ряды и бороться всем сообща. Если мы допустим торжество новых правил, много талантливой молодежи, кто не сможет внести плату, останется за стенами университета. Мы хотим также собираться, толковать о своих делах, а нам говорят о запрещении сходок. Нужно протестовать, предъявить категорическое требование об отмене новых правил. Будем тверды. Не покоримся. Как крестьяне в селе Бездна.

После Утина на кафедру влез долговязый студент.

— Я предлагаю не идти на крайние меры. Все равно нас заставят подчиниться. А для неимущих нужно создать фонд помощи, чтобы...

— Долой! — закричали из зала. — Тебе хорошо! За тебя-то отец заплатит со своего кабака! Знаем ваши доходы!

Раздались свистки, шиканье. Стасик Волынский подскочил к кафедре и стащил долговязого студента.

— Господа! Утин прав. Будем бороться...

На сходке было принято постановление не подчиняться новым правилам, не вносить плату, собирать сходки.

Когда на другой день утром студенты пришли к университету, он оказался закрытым.

Николай Гаврилович Чернышевский сидел за столом в своем кабинете. Он писал статью для «Современника». Мелкие, неразборчивые строчки быстро ложились на бумагу. Статью надо было непременно закончить сегодня.

Скрипнула дверь. Вошла жена, Ольга Сократовна.

— Там к тебе двое студентов.

— Пусть войдут.

Николай Гаврилович встал, пошел навстречу. Это, конечно, Евгений Михаэлис и Николай Утин. Представители университетской молодежи. Горячие, решительные, отважные. Такие, как они, сумеют постоять за общее дело. Но нужно им помочь. Он сам просил их держать его в курсе событий.

— Что нового? — спросил Николай Гаврилович, когда молодые люди уселись возле стола.

— Сегодня с утра университет закрыт. Студенты возбуждены, решили не подчиняться новым правилам. На завтра назначена сходка в университетском дворе.

— Я придаю самое серьезное значение студенческим волнениям, — сказал Николай Гаврилович. — Эти волнения могут стать началом великой бури. Дело только в том, чтобы суметь выступления молодежи соединить с выступлениями крестьян. Тогда движение обретет огромную силу.

— Наш комитет старается руководить выступлениями. Мы разделили всех студентов на кружки. Каждый кружок выбирает из своей среды наиболее влиятельного товарища. А мы потом собираем этих студентов на частных квартирах и обсуждаем наши

дела, принимаем решения. И эти решения проводим на сходках.

— Как вы считаете, Николай Гаврилович, если завтра к нам на сходку опять не явится попечитель, может быть, пойти к нему на квартиру, не депутатам, а всем студентам?

— Что ж, мысль верная. Нужно твердо и настойчиво добиваться отмены новых правил. Но при этом сохраняйте спокойствие, дабы не дать повода к столкновениям. Ибо может быть и даже наверняка будет полиция.

Ранним утром 25 сентября к университету стали подходить студенты. Дверь в здание по-прежнему была закрыта. Кто-то попытался пройти с другого входа, но там стоял сторож и пропускал только начальство и преподавателей.

Студенты собрались на университетском дворе.

— Не дают пройти даже в библиотеку! Ведь библиотека наша. Мы покупали книги на свои деньги, — возмущался высокий черноволосый юноша.

— Все равно мы не будем получать их матрикулы, в которых изложены новые правила.

— Можно получить, а правила не выполнять.

— Так не выйдет! При получении надо расписаться в том, что будешь выполнять правила.

Евгений Михаэлис стоял, окруженный большой группой студентов. Он что-то говорил, но в задних рядах не было слышно.

— Громче, Женя!

— Влезай на ограду!

— А вон там в углу двора лестница, перетащим ее сюда!

Лестницу вмиг перебросили и приставили к стене недалеко от ворот. Михаэлис влез на лестницу.

— Господа! Я призываю всех вас к единству и стойкости. Новые правила мы ни в каком случае не

должны выполнять. Нужно потребовать их отмены. Но с нами не хотят даже разговаривать. Ректор в отъезде, попечитель к нам не выходит. Если он не идет к нам, мы пойдем к нему. Мы проведем все спокойно и с достоинством. Даже если к нам будет применено насилие.

Через некоторое время студенты построились колонной и пошли по набережной. Их было много, около тысячи. Они шли спокойно, медленно. Длинная колонна растянулась чуть ли не на версту.

Перейдя мост, студенты вышли на Невский и направились к Владимирскому, к Колокольной улице, где была квартира попечителя.

День был солнечный. На улицах много гуляющей публики. Никто не понимал, в чем дело. Что это за процессия? Студенты университета? Но куда они идут? Это было невиданное зрелище. Первая демонстрация не только в Петербурге, но и в России. Борьба студентов вылилась из-за стен университета на улицу. Университетские события предавались гласности, становились достоянием столицы.

Люди сочувствовали. Многие присоединялись к шествию, особенно молодежь, слушатели других учебных заведений.

— Студенты академии и университета — братья! — крикнул какой-то студент Медико-хирургической академии, становясь в ряды.

В колонне замелькали фуражки гимназистов, мундиры офицеров, пелеринки девушек, кое-где куртки мастеровых. Из лавок выбегали приказчики, народ выглядывал из окон, толпился у ворот домов. Возбужденные французы-парикмахеры выскакивали из парикмахерских, восклицая:

— Revolution! Revolution!

Мальчишки бегали по улицам, крича:

— Бунт! Бунт!

Колонна приближалась к Садовой улице, когда появилась пешая и конная полиция. На рысях подскочил отряд жандармов. Полиция окружила колонну студентов справа и слева. Отряд жандармов расположился сзади.

— Лишние разойдись! — отгоняла народ полиция.

— Полиция лишняя! — крикнул кто-то из рядов демонстрантов.

Недалеко от Владимирского проспекта показались войска, рота стрелкового батальона. Солдаты шли сомкнутым строем на студентов.

— Это насилие! Не побоимся штыков!

— Спокойней! Они не посмеют стрелять!

В это время все увидели скачущего на дрожках попечителя. Он был перепуган.

— Я готов вас выслушать, но в стенах университета! Отправляйтесь обратно, я приеду!

Однако студенты не желали откладывать. Пусть в стенах университета, но сейчас же!

Попечитель вынужден был согласиться. Он слез с дрожек. В таком же порядке колонна направилась обратно. Впереди шел генерал Филипсон. По бокам — полиция. Сзади — жандармы.

Демонстранты запрудили университетский двор и набережную перед университетом. Все время подходил народ, подъезжали кареты, дрожки. Все хотели узнать, чем кончатся события.

Студенты выбрали депутатов, которых пропустили в университет для переговоров с попечителем. Депутатам была обещана неприкосновенность.

Попечитель говорил по-отечески ласково: не нужно студенческих выступлений, университет вскоре будет открыт, правила еще раз обсудят.

Но в эту ночь было арестовано около пятидесяти студентов, в том числе и депутаты.

ГЛАВА III

По обе стороны Литейного моста стоят два артиллерийских офицера. Они всматриваются в публику, проходящую мимо. Слушателей Артиллерийской и Медико-хирургической академий они останавливают.

— Мы просим вас пройти к университету. Там сегодня будет сходка. Наверно, дело не обойдется без полиции и солдат. Надо помочь студентам.

Артиллеристы и медики поворачивают на Васильевский остров. Конечно, нужно помочь. Они все — члены единой студенческой семьи.

Двор университета снова полон. Бушуют страсти. Поленица дров служит трибуной.

— Они потеряли всякий стыд и благородство! Как они смели дать слово о неприкосновенности и потом арестовать наших депутатов!

— У нас нет зачинщиков, мы все заодно!

Профессор Артиллерийской академии Петр Лаврович Лавров здесь же, среди студентов. Это он накануне у себя на квартире собрал своих учеников-артиллеристов и просил их поддержать студентов университета.

— Обратимся к министру! Если он сколько-нибудь человек, пусть примет меры.

Тут же, на перевернутой бочке подписывали письмо министру.

К университету стянуты отряды полиции. На набережной, вплотную к зданию, построен батальон Финляндского полка.

— Друзья, будем тверды! Дело идет о спасении наших товарищей!

— Мы не дрогнем! Но женщинам лучше удалиться. Это представление не для них!

Женщин здесь немного. Их убеждают покинуть университетский двор. Но они не соглашаются. Они хотят быть со всеми до конца.

В воротах показалась полиция. Конные жандармы въехали во двор.

— Приказываю разойтись! Даю вам полчаса сроку! — крикнул жандармский офицер.

— За что арестовали наших товарищей? Освободите их или возьмите нас вместе с ними!

— Не признаем новых правил! — загудели вокруг.

На глазах у полицейских студенты рвали матрикулы, которые их вынудили получить, и швыряли на землю, топча ногами.

Жандармы пустили лошадей на толпу. Кто-то упал. Еще. Во двор ворвались солдаты, били прикладами. На плитах университетского двора растекалась кровь.

Студенты были окружены и выведены со двора под двойным конвоем солдат. Они шли спокойно, гордо. А вокруг волновался народ, запрудивший всю набережную и Биржевую площадь. То тут, то там раздавались возгласы:

— Мы с вами!

— Молодцы студенты!

Студентов отвели в Петропавловскую крепость. Теперь их там было более трехсот пятидесяти человек.

Темной громадой высится Петропавловская крепость. Шесть бастионов по углам с пушками в амбразурах. Толстые стены соединяют бастионы. В этих стенах расположены казематы. Часовые у ворот, во дворе, в тюремных коридорах. Часовые день и ночь ходят по верху крепостных стен. Вот часовой дошел до угла стены.

— Слу-шай! — протяжно разнеслось в ночи. Этот крик звучит тоскливо, как стон.

Затаившись за деревьями, двое наблюдают за часовым.

— Мы выйдем, когда он пойдет в ту сторону. И все успеем сделать, — шепчет один.

— Хорошо, — отвечает другой.

Утром, проходя мимо крепости, народ останавливался. Что такое? На стене крепости было крупно мелом выведено: «Здесь помещается Санкт-Петербургский университет».

«Люди задумывались, смеялись. Это был смех сквозь слезы.

Николай Гаврилович взволнованно ходил по кабинету.

— Такая наглость! Арестовано пол-университета! Цвет мыслящей молодежи! Но этим они ничего не достигнут. Только подольют масла в огонь.

— Теперь они открыли университет. Но профессора приходят в пустые аудитории. Оставшиеся на свободе студенты не являются на занятия. Из солидарности с товарищами. И матрикулы, которые им были посланы по почте, разорвали, — сказал Николай Серно-Соловьевич.

— Сходки начались у медиков в академии и у технологов. Вчера я получил письмо от друга из Московского университета. Там тоже беспорядки, — добавил Александр Серно-Соловьевич.

— Волнения и в Москве, и в Казани. Нужен единый центр руководства движением. Такой центр мы должны создать, — сказал Николай Гаврилович.

— Революционный центр очень нужен, — откликнулся Александр Слепцов. — Я давно думаю о структуре тайной организации. В основу должен быть положен принцип пятерок. Во главе Центральный Комитет из пяти человек. Каждый член комитета организует еще пять человек, те — также и так далее, пока вся страна не будет охвачена сетью пятерок. Здесь

хорошая конспирация. Каждая пятерка знает только одного ведущего. Но прежде всего нам нужна программа общества.

— Движение молодежи не должно отрываться от революционного движения всего народа. Поэтому в основу программы должно быть положено то, что необходимо народу. Об этом хорошо написано в «Колоколе». Что нужно народу? Земля и воля! — сказал Николай Гаврилович.

Тяжелые кованые ворота Петропавловской крепости медленно отворились. Обычно люди под конвоем шли туда. Только туда. Но не обратно. Обратно их вывозили в закрытых возках на каторгу в Сибирь. Или темной ночью на телегах, прикрытых рогожей. Тогда это были уже не люди. Это были трупы.

На этот раз люди шли оттуда, живые и невредимые. Они выходили по двое, по одному. Но оставались ждать тут же, возле крепости, своих товарищей. И потом пошли все вместе, гурьбой.

Более двух месяцев студенты отсидели в казематах, но вышли победителями. Они знали, что министр за студенческие беспорядки уволен в отставку, что университет так и не удалось открыть. И радость омрачалась только тем, что пятеро их товарищей отправлено в ссылку, среди них Евгений Михаэлис, и за многими, они знают, теперь будет установлен полицейский надзор.

В недавно открытом Шахматном клубе на углу Невского и Мойки за столиками идет битва на черных и белых полях.

— Двинем пешку, — громко говорит Николай Утин, сидя за партией с Чернышевским, и прибавляет вполголоса: — Сегодня выхожу из дома, а напротив опять этот тип. После Петропавловки за нами следят.

— А если я конем? Не нравится? Вам не мешает быть более осторожным, — отвечает Николай Гаврилович.

Он и сам замечает, что полицейская слежка усилилась. За его домом тоже следят. Следят и в книжной лавке на Невском, принадлежащей Николаю Серно-Соловьевичу. И здесь, в клубе, который они создали, чтобы иметь возможность встречаться под прикрытием шахматной игры.

Реакция наступала. Шел 1862 год. Крепостное право отменено, но при этом крестьяне стали жить еще хуже. По всей России вспыхивали крестьянские бунты. Царское правительство жестоко расправлялось с крестьянами. И с неменьшей жестокостью — с революционно настроенной интеллигенцией.

В декабре 1861 года за распространение прокламации «К молодому поколению» отправлен на каторгу поэт Михаил Ларионович Михайлов. В мае 1862 года сослан сотрудник «Современника» Владимир Александрович Обручев. 2 июля посажен в Петропавловскую крепость Дмитрий Иванович Писарев. 7 июля арестовали Николая Серно-Соловьевича. В тот же день был арестован Николай Гаврилович Чернышевский.

Утин держит в руках только что отпечатанный лист, еще пахнущий свежей краской. Здесь, в глухой деревушке неподалеку от Петербурга, удалось создать тайную типографию.

Арестованы лучшие люди, арестованы руководители и организаторы революционного общества «Земля и воля». Но общество не должно погибнуть! Пусть все знают, что оно живет и действует!

Общество уже имеет отделения во многих городах, в Москве, Казани, Харькове, Нижнем Новгороде, Саратове,

Перми. Оно насчитывает более трех тысяч человек. Обществом руководит Центральный Комитет, находящийся в Петербурге, и Главный Совет в лице Герцена и Огарева в Лондоне.

Члены Общества распространяют нелегальную литературу, ведут занятия в кружках, собирают денежные средства, держат связь с «Колоколом». Выделена особая группа людей, которая посылает деньги ссыльным, устраивает побеги арестованных, охраняет членов общества от провала. Эта группа имеет связь с полицией.

В тайной типографии землевольцы печатают листовки и воззвания. Здесь напечатана прокламация «Свобода» № 1. В ней выясняется цель создания общества «Земля и воля» и задачи, стоящие перед ним. Эту прокламацию написал член Центрального Комитета Николай Утин.

«Для людей, отдавших со всей энергией служению делу народного освобождения, исход один только — в неуклонной борьбе с врагом русского народа — с императорским правительством... Для этой борьбы и составлено общество «Земля и Воля», — было напечатано в прокламации. Вверху стояла голубая печать общества со словами по кругу: «Русский Центральный Народный Комитет» и в центре — «Земля и Воля». Внизу — «Типография Общ. «З. и В.»».

Листовки и воззвания с голубой печатью «Земли и воли» распространяли среди населения, в учебных заведениях, на фабриках, в казармах, разбрасывали на бульварах, оставляли в общественных местах, рассылали по городам и деревням.

В прокламации «Свобода» сообщалось, что она будет выходить регулярно.

Уже составлен второй номер.

Но полиция не дремлет. Еще раньше полицейский агент доносил в Третье отделение: «Николай Утин —

правая рука Чернышевского». Теперь полиция напала на след типографии. Типография раскрыта. Забраны листовки, шрифт. Арестованы товарищи, печатавшие прокламации. Нити опять ведут к Утину.

В условленном месте найден камешек. Это был знак вызова на переговоры.

В полдень в Таврическом саду жарко. Бонны с нарядными детьми и кормилицы с малышами на руках предпочитают прятаться в тень. На солнечной стороне никого нет.

Рослый жандарм, проходя через сад, присел отдохнуть на скамейку. Потянулся, щурясь, подставил лицо солнцу.

Прогуливаясь по аллее, прекрасно одетый молодой человек, поигрывая тростью, тоже присел на эту скамейку, с другого края. Небрежно развалясь, он заложил ногу на ногу, бросил монокль в глаз, огляделся вокруг, залюбовался тихой гладью пруда, в котором, как в зеркале, отражались зеленые кроны деревьев, белые стены Таврического дворца. Потом достал газету и углубился в чтение.

— Зачем вызывал? — спросил он тихо, глядя в газету.

Жарко. Жандарм вынул платок, снял фуражку, обтер лоб, усы.

— Есть важные новости. Утин раскрыт. Грозит арест, — сказал он тоже тихо.

Посидев еще немного, жандарм встал, расправил плечи, зевнул и молодеватой походкой направился из сада.

Прочитав газету, щеголеватый молодой человек тоже встал. Побродил по дорожкам. Сел на другую скамью, в тень, поболтал с хорошенькой горничной, которая на минутку забежала в сад по дороге в лавку, и, еще раз оглядевшись вокруг, лениво пошел к воротам.

В тот же день было заседание Центрального Комитета «Земли и воли». Товарищи предложили Утину скрыться за границу.

Утин молчит. Он не знает, что делать. Надо уезжать. Но и здесь он очень нужен. Так мало осталось людей в организации. Столько арестовано, сослано. Поляки ушли в партизанские отряды. Может быть, остаться, переменить место жительства и паспорт.

Но товарищи настаивают, и Утин соглашается. Ему выдают деньги из кассы Общества, он берет адреса своих людей в городах по пути следования и через Константинополь уезжает в Западную Европу.

ГЛАВА IV

Они собрались на Фурштадтской, у Лаврова, потолковать еще раз о героях романа Чернышевского, о своих делах.

Вот уже два года Николай Гаврилович томится в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости. Темная, сырая камера. Стол, привинченный к стене, тонкий соломенный тюфяк на железной койке. Баланда из тухлой капусты вместо обеда. И вечный надзор жандармских глаз через круглое отверстие в двери.

Но и в таких условиях он работает. Он работает очень много, бережет каждую минуту, часто отказываясь даже от прогулок. Нужно писать так, чтобы не придралась цензура, завуалировать мысли. Философские работы, переводы и роман «Что делать?»...

Роман был напечатан в журнале «Современник». Его очень трудно достать. Только из-под полы. И за большие деньги.

Но, кажется, не было в Петербурге дома, где бы его не читали, где бы о нем не говорили, не спорили, не восхищались его героями. В нем указан путь, которым нужно идти. В нем впервые выведен образ твердого, негибаемого революционера. В нем проповедуется свобода для женщин.

Уже, следуя роману, на Знаменской улице Василием Слепцовым организована первая коммуна.

— Нам нужно постараться открыть еще швейные мастерские и переводческую артель, чтобы дать работу как можно большему числу женщин, — говорит Маша Михаэлис.

— Надо подождать, не закроет ли полиция нашу коммуналку, — возражает Василий Слепцов.

— Но почему они должны ее закрыть? — спрашивает Надя Сулова.

— Они найдут повод, их не смутит и подлог. Как тогда с пожарами, — говорит Лавров. — Но нужно быть твердыми, как Рахметов...

Кто-то дергает звонок у входной двери. Кто это может быть? «Современник» с «Что делать?» на всякий случай прячут. Снимают со стены гитару.

Но это свой, Владимир Ковалевский. Владимира все любят и уважают. За кипучий нрав, за бескорыстие, за доброе сердце.

Ковалевский — сын небогатого помещика Витебской губернии, он с пятнадцати лет в Петербурге. Отец привез в столицу двух своих сыновей и отдал старшего, Александра, учиться в Путьский институт, а младшего, Владимира, — в Училище правоведения. Специальности инженера и юриста казались отцу наиболее подходящими, чтобы хорошо устроиться в жизни. Но сыновьям и то и другое было не по душе. Они оба были увлечены естествознанием.

Саша ушел из института и поступил в университет. Володя, хотя и не бросил училища, чтобы не огорчать отца, но, окончив его, работать юристом не стал. Он взял отпуск и уехал за границу. Там побывал он во многих городах и везде интересовался работами по естественным наукам.

В Лондоне Ковалевский познакомился с Герценом и стал частым гостем в его семье. Он давал уроки дочери Герцена, Оле. Ему случалось не раз беседовать с Александром Ивановичем. Герцен жадно ловил каждое слово о России, — он тосковал по родине, которую так нежно любил и от которой был навсегда оторван.

Только недавно Ковалевский вернулся в Петербург. Он увидел все ту же картину. Богатство и роскошь одних и нищету других. Народную необразованность, темноту и несправедливость.

Ковалевский задумал открыть свое издательство, чтобы печатать книги, нужные народу. Для этого надо было иметь деньги. Владимир собирал их по крохам, брал работу, одалживал, но не терял надежды.

Ковалевский входит к Лаврову и, поздоровавшись, садится на диван. Он сидит молча, рассеянно глядя перед собой, и это так на него непохоже, — он всегда появляется с улыбкой, находит для каждого какие-то приветливые слова, — что Маша Михаэлис спрашивает:

— Вы чем-то расстроены, Володя?

Все смотрят на Ковалевского и замечают, что он действительно необычно бледен.

— Господа! Я только что узнал чрезвычайную новость. Узнал совсем случайно... — говорит Ковалевский. — Послезавтра, девятнадцатого, гражданская казнь над Чернышевским. Хотят сделать рано утром, чтобы никто не знал...

Все взволнованы и возмущены.

— Гражданская казнь над Чернышевским?! Мерзавцы! Как они посмели! Какой неслыханный позор для России! — восклицает Лавров.

— Хотят тайком, боятся беспорядков. И в газетах ничего нет...

— А мы все равно поднимем и университет, и Медицинскую академию.

— Надо побывать в книжной лавке на Невском. Там всегда много наших.

— Учитель! Как нам отомстить за тебя, и за Евгения, томящегося в ссылке, и за Стасика Волынского... Когда придет такое время?

Они вскоре стали расходиться, чтобы предупредить всех, кого можно, о том, что должно произойти послезавтра...

19 мая 1864 года. Раннее утро. Небо сплошь покрыто тучами. Моросит мелкий дождь.

На Мытнинской площади, как раз посредине, стоит черный помост с высоким черным столбом, в который ввинчено кольцо с цепью.

Вокруг помоста — стена солдат. Снуют городовые, пешие и конные жандармы. Площадь вся запружена народом. Здесь много студентов в блузах, молоденьких девушек, нарядных дам, мужчин в военном и штатском. Кое-где видны мастеровые в промасленных куртках.

Люди все подходят. Некоторые приезжают в экипажах. Все смотрят направо, чего-то ждут.

Вот из-за поворота показалась черная карета. По обе стороны ее конные жандармы с саблями наголо. Толпа задвигалась, зашумела. Многие бросились к карете.

— Назад!

Жандармы сомкнулись вокруг кареты.

— Смирно! — раздалась команда.

Карета подъехала к эшафоту. Из нее вышел худощавый светловолосый человек невысокого роста, в очках, с реденькой бородкой. Его сопровождали два дюжих молодца в черном. Это — палачи.

В толпе тихо переговариваются.

— Вот он! Как побледнел за это время!

— Два года уже в тюрьме, да еще в Алексеевском равелине!

— Но как всегда спокоен.

Человек взошел на помост. Толпа замерла.

— Снимите шапки! — крикнул кто-то.

— На кара-ул! — слышится в тишине команда.

Начинается чтение приговора. Полицейский чиновник читает быстро и невнятно. Доносятся лишь обрывки фраз.

«...Николая Чернышевского 35 лет...

...за злоумышление к ниспровержению существующего порядка... сослать в каторжную работу в рудниках на семь лет и затем поселить в Сибири навсегда...»

Сотни человеческих глаз смотрят на Чернышевского. Вот он — их учитель, друг. Он идет на каторгу!

Палачи ставят Чернышевского на колени и ломают над его головой шпагу, что должно означать «потерю чести». Потом поднимают его, подводят к столбу и заковывают руки в цепи. На грудь ему вешают черную доску с надписью: «Государственный преступник».

Он стоит прикованный к позорному столбу, скрестив руки на груди, простой и спокойный.

Дождь усилился. Чернышевский без фуражки. Струйки стекают по его лицу.

В толпе мужчины тоже не надевают фуражек. Взволнованные лица молодежи. Глаза женщин полные слез. И тишина, напряженная тишина...

Вдруг в толпе происходит движение. Тоненькая девушка с длинными косами стремительно бросается к эшафоту. Это Маша Михаэлис. Она пробралась сквозь стену жандармов и солдат. Она достает из-под пелерины букет алых роз.

— До свидания, учитель! — говорит Маша и кидает к ногам Чернышевского цветы.

Тишина взрывается. Несутся возгласы:

— Мы вас не забудем!

— Мы знаем, что́ делать!

Жандармы бросаются в толпу. Народ волнуется. Машу пытаются спрятать. Поздно! Жандармы хватают ее и увозят.

Пошел сильный дождь, но никто не уходит. Позорная «гражданская казнь» окончена. С Чернышевского снимают цепи и ведут его к карете. Народ бросается к Чернышевскому. Взявшись за руки, жандармы становятся цепью, пытаются сдержать толпу.

Высокая голубоглазая девушка со светлыми волосами, в шапочке скользнула между жандармами к эшафоту. Она дотянулась до одной из рассыпанных по

помосту роз, схватила и, спрятав ее на груди, смешалась с толпой.



Цепь жандармов смята. Люди окружают карету. Слышны голоса:

— Прощай, друг народа!

— До свидания, Чернышевский!

Лошади трогаются шагом. Люди бегут рядом. Машут платками, фуражками.

— Рысью! — командует жандармский офицер.

Карета скрывается за поворотом.

Высокая девушка в шапочке быстро идет по улицам. Вот она подошла к дому № 15 на Васильевском острове в 1-й линии. Это собственный дом Шубертов, обрусевших немцев, в роду которых известные ученые и военные. Девушка обошла парадный ход и тихонько постучала с черного. Ей сейчас же открыла старушка в темном платье, — видно, няня.

— Ох, моя касатушка, что тут было. Барин встали. Говорят, к завтраму собираться ехать в имение. А ты не выходишь. Осерчали: «Буди ее». Ажно я вся обмерла от страху. Пошла к твоей комнате, да прихожу обратно. «Не добудиться, — говорю, — сладко спит».

— Т-с-с! — девушка прикладывает палец к губам. Снимает туфли и в одних чулках крадучись идет по коридору.

Через полчаса, переодевшись и спрятав розу, она выходит в столовую. За чайным столом сидит генерал, Василий Васильевич Корвин-Круковский, генеральша Елизавета Федоровна и две ее сестры, старые тетки Шуберт.

— Анюта, как ты сегодня долго спала. Посылали няню, она не добудилась.

— Да, мама, мне снился сон. И я никак не могла проснуться. Будто на хорошего человека напали разбойники, связали его, заткнули рот и увозят насильно...

— Кого увозят? — спрашивает глуховатая тетушка Шуберт, приложив ладонь к уху.

— Хорошего человека. А вокруг цветы. Много цветов...

— А что же смотрит полиция? — не понимает тетка.

Генерал своими умными темными глазами искоса посмотрел на дочь. Что-то бледна сегодня. Ох, уж эти девичьи сны. Надо скорее ехать в деревню. Там можно быть спокойнее за детей.

С тех пор как Василий Васильевич вышел в отставку, они всей семьей жили в деревне. В Великолукской губернии, близ города Невель, на границе с Литвой, у Корвин-Круковских большое имение Палибино, винокуренный завод. По пышным заливным лугам бродили стада овец, коров.

Помещичий дом стоял на горе. Огромный, каменный, с флигелями по бокам и башней посередине. Вокруг дома тенистый сад, с дорожками, клумбами, беседками и оранжереей. Длинная березовая аллея вела от дома, а дальше озеро, лес, который тянулся на много верст вокруг.

Василий Васильевич был хорошим хозяином. Елизавета Федоровна хозяйством не занималась. Она была на двадцать лет моложе мужа. Имела характер веселый, мягкий. Хорошо знала языки. Любила наряды, спектакли, музыку.

Каждый год Елизавета Федоровна со старшей дочерью Анютой выезжала на зиму в Петербург. Младшая дочь Софа и сын Федя оставались на попечении учителя и гувернантки.

Василий Васильевич иногда сопровождал жену и дочь. Но вообще он предпочитал жить в деревне.

Генерал встал из-за стола.

— Укладываться и ехать. Завтра же ехать! — решительно сказал он.

ГЛАВА V

Плюсы, минусы, повернутые восьмерки, скобки... Девочка лет четырнадцати стоит в комнате и пристально смотрит на стену. Она то поднимается на цыпочки, то приседает. Вот даже взобралась на стул и водит пальцем по каким-то значкам, изогнутым как лебединая шея. Лицо у девочки сосредоточено и серьезно, брови нахмурены. От напряжения она даже прикусила нижнюю губу.

Она так может стоять долго, часами. Эта стена ее притягивает, как магнит.

Когда делали ремонт в Палибине, на одну стену в детской обоев не хватило. Доставать обои — дело хлопотливое, за ними нужно было ехать в Петербург, и пока решили оклеить стену газетами.

На чердаке, в куче разного хлама попались лекции по высшей математике профессора Остроградского, у которого еще в молодости занимался генерал в Артиллерийском училище. Эти лекции и пошли на оклейку.

Здесь ничего похожего не было на арифметику. Девочка вчитывается в текст между формулами, старается догадаться, что на обратной стороне страниц, соединить разрозненные части. Она столько раз смотрела на эти значки, что запомнила их наизусть. Но смысл написанного все равно оставался неясным.

— Полно тебе, ясочка, стоять тут одной, — скажет няня, глядя ладонью кудри своей любимицы Сонечки. — Шла бы играть с Федей, пока не хватилась тебя змея Францевна.

«Змеей» няня называет гувернантку Маргариту Францевну, которая с некоторых пор отняла у нее

Сонечку, чтобы научить ее «приседать» да «балясничать по-басурмански».

Софа со вздохом отходит от стены. Она не хочет идти к Феде, он маленький, с ним неинтересно. Софа бежит в библиотеку. Здесь, она знает, в своей обычной позе, на кожаном диване, подвернув одну ногу под себя и прищулив левый глаз, сидит дядя, Петр Васильевич, старший брат отца, который нередко приезжает из своего имения и подолгу гостит у них в Палибине.

Дядя читает запоем книги. Он любит поговорить со своей младшей племянницей о прочитанном, пофилософствовать, поиграть с ней в шахматы.

— Математика — великая наука, — говорит он. — Но в ней, знаешь, еще много таинственного. Вот взять хотя бы квадратуру круга. Сколько бьются над тем, чтобы из круга построить равновеликий квадрат, — а не могут. Или вот есть такие прямые линии — асимптоты. Кривая к ним все время приближается, а достичь их не может. Так-то, моя дорогая племянница.

Софа впивается глазами в дядю.

— Что, так и нельзя построить? Никогда? А кто пробовал? Вы сами?

Дядя смеется.

— Хе-хе. Я — что. Я умишко маленький. Большие люди не могут.

Про стену в детской он ничего рассказать не мог.

— Учил когда-то, Софьюшка, и я математику, да все позабыл.

Софа решает спросить своего учителя.

Иосиф Игнатьевич жил у них постоянно в Палибине и занимался с Софой и младшим братом Федей.

Софа очень любила своего учителя. Он умел так хорошо рассказывать! Они проходили историю и литературу, читали стихи Пушкина и Лермонтова, говорили о Джордано Бруно.

Однажды на уроке геометрии учитель рассказал об отношении длины окружности к диаметру.

На другой день Софа, отвечая заданное, пришла к тому же выводу, но не так, как показал учитель, а совершенно другим путем. Иосиф Игнатьевич был удивлен.

— Молодец, — сказал он. — Как это вы сумели?

Софа ответила, что так интереснее — придумывать что-то новое.

— Нет, не стоит на это тратить время, — возразил учитель. — Лучше пользоваться уже известным, тот путь ведь и короче.

Софа вдруг сильно покраснела и заплакала.

А сейчас, когда она спросила про формулы на стене, учитель сказал:

— Это высшая математика. В ней вы сумеете разобраться, когда пройдете алгебру, геометрию, тригонометрию. Но и тогда вы не сможете ее изучать — женщины этой наукой не занимаются. И в университет, где проходят математику, женщин не принимают.

Весь день Софа ходила сама не своя. Почему женщинам нельзя заниматься математикой? А если это интересно?

Вечером за чаем собралась вся семья. Уютно кипел самовар. Где-то за окном потрескивали кузнечики.

Говорили об урожае. О новом спектакле, который ставили соседние помещики. Елизавета Федоровна была большая любительница играть на сцене. Анюта тоже всегда исполняла роль. У нее находили даже талант — и она одно время просила родителей отпустить ее в театральную школу. Но генерал и слышать не хотел. Его дочь — чтобы пошла в актрисы! Он знает их жизнь. Это легкомыслие и разврат!

Анюта потужила, поплакала и покорила.

Только что кончили пить чай. Генерал взял газету. Елизавета Федоровна стала раскладывать пасьянс.

— Папочка, — спросила Софа, — почему девушек не принимают в университет?

— А что им там делать? — ответил генерал. — Девушка должна жить с родителями до замужества. А потом заниматься своей семьей, мужем и детьми.

— А Чернышевский думает иначе, — вставляет Аня.

— Тебе откуда известно, что думает Чернышевский? — нахмутив брови, спрашивает генерал.

— Ваш Чернышевский смутьян. Он и поляков поддерживал, — говорит гувернантка.

Иосиф Игнатьевич взглянул на гувернантку. Софа заметила, как гневно блеснули его глаза из-под очков. Он ведь поляк и всей душой любит свое отечество.

— По-вашему, поляки не люди, — вмешивается вдруг дядя Петр Васильевич. — А ваши англичане что делают? Наводнили всю Индию и вывозят из нее добро. Я бы их всех перевешал! — И он сердито стукнул кулаком по столу.

— Тише, успокойтесь! — встревожилась генеральша. — Софа и Федя, вам пора спать.

— Я еще немного побуду.

— Нет, нет, сейчас же спать, сию минуту! — вскочила гувернантка и, схватив Софу за руку, потащила ее из комнаты.

В спальне Маргарита Францевна сердито сказала Софе:

— А все ваша сестра. Сколько раз я вам говорила, не слушайте вы ее. Я запрещаю вам ходить к ней в комнату. Это пропащий человек, как это называется по-русски, — бунтарь, вот как. Она даже против царя. Это ужасно!

Софа молчит. Она знает, что Аня и Маргарита Францевна — непримиримые враги. Они постоянно спорят. С самого начала, как появилась гувернантка, Аня заявила, что подчиняться ей не будет. Родители

пробовали уговаривать дочь. Но потом решили, что она достаточно взрослая — ей было тогда шестнадцать лет, — и махнули рукой. Из нижнего этажа, где жили дети, Анюта переселилась в верхний, в отдельную комнату, рядом со спальней Елизаветы Федоровны. Но все равно вражда и споры с гувернанткой продолжались. Всем сердцем Софа была на стороне сестры.

Софа стелит постель и ложится спать. А Маргарита Францевна приступает к своему вечернему туалету. Она надевает капот и накручивает папильотки. Тень на стене от головы гувернантки качается, как какое-то рогатое чудовище.

Но вот Маргарита Францевна гасит свет. Остается только лампадка перед иконой. Гувернантка подходит к Софе, оправляет на ней одеяло. Софа притворяется спящей.

Маргарита Францевна задвигает ширму и тоже ложится. Через несколько минут мерное посапывание возвещает о том, что гувернантка уже видит приятные сны.

Софа не спит. Она вспоминает, что сказал учитель и отец. Она хочет знать, кто такой Чернышевский. Может быть, он ей поможет, добудет разрешение заниматься математикой? Надо завтра узнать у Анюты.

Софа тихонько садится на кровати. Там, в алгебре Бурдона, она видела одну задачку. Весь день ей хотелось порешать ее, но гувернантка этого делать не позволяет — заниматься можно только тем, что задает учитель. А задача очень интересная, она так хочет ее решить, она, кажется, уже знает как.

Девочка встает, берет задачник и тетрадку — она каждый вечер кладет их на всякий случай под подушку — и идет к лампадке, в угол комнаты. На кровати она из одеяла и одежды делает подобие спящего человека.

Босая, в одной рубашке стоит Софа у чуть мерцающего огонька, думает, пишет, решает задачу.

Гувернантка, видно, услышала шорох, заворчалась.

— Соня, ты не спишь?

Девочка прижалась к стене, затаила дыхание.

Маргарита Францевна успокоилась, заснула.

Софа снова решает задачу.

ГЛАВА VI

В деревне случилось чрезвычайное происшествие. Сын местного попа, отца Филиппа, отличался всегда благонаравием и послушанием. По желанию родителей он поступил в духовную семинарию и отлично ее окончил. Ему предлагали богатый приход. Но Алеша вдруг заупрямился и пошел учиться в университет естественным наукам. Теперь, приехав на каникулы домой, он в разговоре с отцом понес вдруг такую ахинею, что, де-мол, бога нет, души нет, а человек произошел от обезьяны.

С попадьею сделалось худо. А отец Филипп схватил кропило и стал брызгать сына святой водой.

Всякое событие в деревне узнается быстро. Не прошло и дня, как все только и говорили о чудном поповиче.

Отец Филипп частенько бывал в имении у генерала. Приходил он туда и с сыном. Анюте всегда казался неинтересным этот застенчивый, неуклюжий семинарист. Но теперь она хотела его видеть.

Они повстречались недалеко от дома, когда Анюта шла на прогулку. Он был все такой же, немного смешной и нескладный, долговязый, с длинной жилистой шеей, большими красными руками и космами желто-русых волос вокруг бледного лица. Но Анюта заметила, что он сильно повзрослел. Далеко расставленные серые глаза его смотрели серьезно. Между бровями залегла складка.

Они пошли по березовой аллее.

— Что слышно в Петербурге? — спросила Анюта. — Здесь у нас такой медвежий угол.

— В Петербурге правительство старается подавить все мыслящее, все живое. За то, что мы восстали против произвола и тирании, закрыли университет и триста

пятьдесят студентов бросили в Петропавловскую крепость. На другой день наши на стене Петропавловки написали: «Здесь помещается Санкт-Петербургский университет».

Анюта засмеялась.

— Так и написали?

— Конечно.

— Какие храбрые! — восхищенно говорит Анюта. — Никого не арестовали?

— Нет. Сумели скрыться. А Герцен выступил в «Колоколе»: «Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку? В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки».

— Что известно о Чернышевском? — спрашивает Анюта.

— Пока ничего. Сослан на каторгу. Но мы надеемся узнать. Недавно мы получили весточку от поэта Михайлова. Он тоже в Сибири, в рудниках. Это он нам тайно переслал через верного человека.

Алеша достает замусоленный листок, — видно, он побывал не в одних руках.

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытаются огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!

Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых.

Час обновленья настанет —
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет...

Алеша кончил читать. Они шли молча. Вокруг было столько солнца. Искрилось озеро. Сияли белые нарядные березки. И птицы весело щебетали где-то в зеленой листве деревьев.

Но Анюта ничего не замечает. Ей представляется сырой глубокий рудник и поэт в кандалах, прикованный к тачке. Когда он написал эти мужественные стихи? Может быть, во время работы, тайком царапая на стенке рудника? Или ночью, на ощупь водя карандашом по клочку бумаги?

Анюта стала часто встречаться с Алешей. Он приносил ей книги, прокламации, журналы, сочинения Писарева, Добролюбова. В них призывали к действию. Не сидеть сложа руки, а просвещать народ, вместе с народом бороться за лучшую жизнь.

О, она, кажется, тоже нашла дело, которое может приносить какую-то пользу. Только надо много и упорно работать.

Анюта садится за письменный стол и что-то пишет своим ровным, ясным почерком. Иногда она встает и прохаживается по комнате. Сама того не замечая, она ходит в такт своим мыслям — то медленно, спокойно, то вдруг быстро, почти бегом.

Скрипнула дверь. Это вошла Софа. Ей удалось отпроситься у гувернантки, и она пришла посмотреть, что делает ее Анюта.

Софа обожает свою сестру и старается ей во всем подражать. Анюта старше Софы на семь лет. По виду они совсем разные. Софа смуглая, с вьющимися

каштановыми волосами и живыми светло-карими глазами на круглом личике. На подбородке у нее ямочка. Анята беленькая, волосы у нее золотистые, глаза голубые, мечтательные. Только ямочка на подбородке у нее такая же, как у сестры.

Софа постояла у двери, потом прошла, тихонько садится на диван. Она давно замечает, что Анята все о чем-то думает, что-то пишет. Софу мучит любопытство, но она знает, что Аняту спрашивать нельзя. Надо ждать, когда сестра снизойдет к ней и заговорит сама. Однако Анята даже не оборачивается. Наконец Софа не выдерживает:

— Аняточка, ну что же ты все пишешь и пишешь. Я пришла к тебе...

Но Анята продолжает писать.

— Ах вот ты какая... Злюка... Я отпросилась у гувернантки на одну минуту...

У Софы на глазах слезы. Она вот-вот расплачется. Анята вдруг оборачивается и как ни в чем не бывало спрашивает:

— Ты жив, сурок?

Когда Софа была совсем маленькой, Анята с ней так играла. Софа пряталась. А Анята ходила, искала и напевала свою любимую песенку:

И мой всегда
И мой везде
И мой сурок
Со мною.

И вдруг скажет: «Ты жив, сурок?»

Тогда Софа стремглав летит из своего укромного местечка к палочке-выручалочке. Бежит и Анята. Кто первый стукнет палочкой и прокричит: «Жив-жив!» — тот выигрывал.

— Жив-жив! — говорит Софа. Слезы ее вмиг высыхают. Она подбегает к Анюте.

— Послушай, ты умеешь держать язык за зубами, чтобы никому ни под каким видом не проговориться? — спрашивает Аня.

Софа клянется, что будет молчать как рыба. Тогда Аня с видом заговорщицы подходит к своему старенькому бюро, в котором — Софа знает — она хранит свои самые заветные секреты, и вынимает оттуда журнал, на котором крупными буквами выведено: «Эпоха».

— Вот, — говорит она, — повесть Юрия Орбелова. Ты не знаешь, кто такой Орбелов? И не догадываешься?

Аня кружится с журналом по комнате и останавливается перед Софой.

— Так вот знай же! Юрий Орбелов — это я! Моя повесть напечатана в «Эпохе»! Я теперь русская писательница!!!

Софа, широко открыв глаза, смотрит на сестру. А Аня рассказывает, как она написала повесть, как послала ее в журнал, как придумала псевдоним.

У Софы мелькает мысль, уж не дурачит ли ее сестра. Но Аня показывает Софе письмо, которое ей прислал Федор Михайлович Достоевский, издававший журнал «Эпоха». Он пишет, что в ее повести много «юношеской непосредственности, искренности и теплоты чувства», и советует продолжать писать.

— Я получаю письма на имя Домны Никитичны, — говорит Аня, — чтобы никто ни о чем не узнал. Особенно папа, ты ведь знаешь, как он относится к актрисам и писательницам.

Домна Никитична была экономкой в Палибине.

— Правда, Софка, это замечательно — быть писательницей. В Петербурге сейчас молодежь идет в коммуны, там и работает и живет, как это написано у

Чернышевского в «Что делать?». А я ведь не могу туда пойти. Буду так полезной обществу.

— Знаешь, — шепотом говорит Аня, — я была на казни Чернышевского. Одна девушка бросила к ногам Чернышевского цветы, ее забрали жандармы. А я пробралась потом мимо жандармов к эшафоту, взяла один цветок. Ты про это тоже молчи.

Аня показывает Софе засушенную алую розу.

— Он говорил, что и женщины могут учиться? — спрашивает Софа тоже шепотом. Аня не успевает ответить. Дверь широко распахивается. На пороге рассерженная гувернантка.

— Ах, вот вы где! Я же запретила вам ходить сюда! Тоже хотите стать «передовой барышней»!! — Последние слова Маргарита Францевна произносит язвительно и бросает уничтожающий взгляд на Аню. — Извольте, Софа, идти в классную комнату. Сейчас придет учитель.

Гувернантка и Софа уходят. А Аня снова садится за письменный стол. Она пишет вторую повесть.

Когда повесть была закончена, Аня опять послала ее в «Эпоху». С нетерпением она ждала ответа.

Почта приходила в имение раз в неделю. Обычно Домна Никитична выходила почтальону навстречу. Но — были именины генеральши. Этот день всегда праздновался в семье Корвин-Круковских торжественно и широко.

Гости собрались со всего округа. Из ближайшего городка приехали офицеры и привезли с собой полковых музыкантов.

Только что кончился званый обед. Гости разошлись по комнатам, чтобы отдохнуть и переодеться к балу. В это время принесли почту. Экономка хлопотала о гостях и совсем забыла встретить почтальона. Письма попали прямо к генералу.

Ему сразу бросился в глаза конверт с большой красной печатью, на которой было вырезано: «Журнал «Эпоха». На конверте надпись: «Домне Никитичне Кузьминой».

«Что за притча? — думал Василий Васильевич, озадаченно вертя в руках письмо. — С каких это пор наша полуграмотная экономка имеет дела с издательствами?»

Он велел позвать Домну Никитичну. Пришлось ей во всем признаться.

Василий Васильевич вскрыл конверт. В нем лежал другой, поменьше, в котором находилось письмо на имя Анны Васильевны Корвин-Круковской и какие-то деньги.

В первый момент генерал потерял дар речи. Как, его дочь тайно переписывается с незнакомым мужчиной, да еще получает от него деньги! Какой позор! Правда, он потом понял, что эти деньги присланы за какие-то рассказы, но все равно. Он не желал, чтобы его дочь была писательницей. Он знает всех этих Жорж Санд! В молодости он был знаком с княгиней Ростопчиной. Она тоже сначала писала стихи, потом за ней стала ходить толпа поклонников. В конце концов Василий Васильевич встретил ее за границей азартно играющей в карты, окруженной какими-то проходимцами. Вот до чего доводит женщину писательство! Нет, Василий Васильевич не хочет, чтобы его дочь пошла по такому пути! Он велел немедленно позвать Елизавету Федоровну.

А в большом зале зажгли все канделябры и люстры. Музыканты приготовились играть. Офицеры натягивали белые перчатки, барышни в воздушных платьях с кринолинами вертелись перед зеркалами. Гости с нетерпением ожидали начала танцев.

Бал должен был открыть сам генерал. Но он что-то не появляется. Вдруг входит лакей и просит Елизавету Федоровну пожаловать к Василию Васильевичу. Все

всполошились. Что случилось? Подбирая рукой шлейф тяжелого шелкового платья, Елизавета Федоровна поспешно выходит из зала.

Вскоре генеральша вернулась. Стараясь казаться спокойной, она сказала, что Василий Васильевич нездоров и просит танцы начать без него.

Анюте в этот вечер было очень весело. Праздничная обстановка, музыка, яркий свет, новые лица, все это опьяняло ее. Забыв о своих мечтах и идеалах, она кружилась в танцах, улыбаясь всем и каждому и сознавая, что она на балу самая нарядная и самая красивая.

Но вот уже утро. Праздник окончен. Гости разъезжаются по домам. Как только закрылись двери за последними из них, Елизавета Федоровна подзывает к себе Анюту и тихо, чтоб не слышали слуги, говорит ей:

— Что ты наделала, Анюта! Отцу все известно. Он прочел письмо Достоевского к тебе и очень сердится. Иди немедленно к нему.

Веселье мигом сбежало с лица Анюты. Она сильно побледнела, но в глазах вспыхнул упрямый огонек. Не сказав ни слова, она повернулась и пошла к отцу.

Разговор продолжался долго. Василий Васильевич требовал, чтобы Анюта оставила свое писательство.

— Тебе что — денег не хватает? Наряды не на что купить?

— Не в этом дело. Я не могу жить бесцельно. Хочу что-то значить в обществе.

— Ишь что вздумала. Она напишет какие-то рассказы и уже будет значить в обществе. Замуж тебе надо — вот что. И за человека, который занимает положение. Тогда и будешь значить в обществе, и почет тебе будет и уважение.

— Если не хотите понять — как знаете. А писать я буду. И уйду из дому.

— Я вот велю тебя запереть. А пособников твоих выгоню.

— Что ж, теперь не крепостное право. Найдет себе место.

— Выйди отсюда сейчас же! — в бешенстве закричал генерал.

Анюта уходит, высоко держа голову. Нет, она не покорится!

С тех пор семья разбилась на два лагеря. Анюта не выходила из своей комнаты, даже к обеду. Встревоженная Елизавета Федоровна уговаривала то одного, то другого.

И вот произошло, казалось, невозможное. Генерал смягчился. Он дал согласие выслушать Анютину повесть.

На чтение собралась вся семья. Анюта читала взволнованно, страстно. Ей близки были переживания героини.

Отец слушал молча, не проронив во все время чтения ни слова. Когда Анюта перевернула последнюю страницу, он встал и ушел к себе.

Через некоторое время Елизавета Федоровна тихо постучалась к нему в кабинет. Генерал сидел за письменным столом в своем удобном кожаном кресле. Перед ним лежал журнал «Русский вестник». Елизавета Федоровна заметила, что он открыт на романе Тургенева «Отцы и дети», о котором еще недавно было столько споров в обществе.

— Да, — задумчиво сказал генерал, обращаясь как будто больше к самому себе, — видно, времена не те. Брожение идет по всей России. Пусть уж сочиняет и переписывается с Достоевским, если ей так хочется. Только все свои письма, прежде чем послать, показывает мне.

— А как же с поездкой? — осторожно спросила Елизавета Федоровна, стараясь голосом не выдать радость по поводу решения Анютиного вопроса.

Речь шла о Женеве, куда Елизавета Федоровна собиралась на отдых с дочерьми. Но, ввиду последних семейных событий, генерал и слышать не хотел о поездке.

— Да уж ладно... — сказал Василий Васильевич. — Раз задумали... Только зорко следи там за детьми.

Елизавета Федоровна поцеловала мужа и тихонько вышла из кабинета.

ГЛАВА VII

Вечером, гуляя в саду возле дворца, царь Александр II увидел — что-то белеет на земле. Он подошел ближе. Это была газета. Царь наклонился, поднял. В глаза бросились черные строчки: «Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?»

Царь побледнел. На лбу выступили капельки пота. В изнеможении он присел на скамью. Кто подложил? Даже здесь, под окнами Зимнего дворца, эти гнусные листки!

А в глаза настойчиво лезли слова:

«Проклятье вам, проклятье и, если возможно, месть!..»

Царь сжал кулаки.

— Мерзавцы! Я вам покажу!..

Вскочил со скамьи. Пошел, почти побежал к дворцу.

Как из-под земли вырос адъютант.

— Ваше величество...

— Где охрана? — закричал царь. — Как вы смотрите за дворцом, я вас спрашиваю!

Тяжело ступая, Александр прошел в кабинет. Швырнул газету на стол. Зазвонил в колокольчик.

Бесшумно вошел камердинер в белых чулках и красном фраке. Царь хмуро посмотрел на него.

— Отменить прием гостей.

— Но... ваше величество... — осмелился сказать камердинер. — Приглашенные уже съезжаются.

— Не принимать.

Он не хотел их видеть. Никого. Может быть, даже кто-то из них подбрасывает эти паскудные газеты. Теперь никому нельзя верить.



Царь вспомнил, как недавно во время охоты он спросил поэта Алексея Толстого, который был его другом юности:

— Что нового в литературе?

— Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского, — ответил Толстой.

— Каково?!

Он вспомнил еще один случай, с заседанием Государственного совета. Заседание было совершенно тайным. На нем присутствовали только самые доверенные лица. Были приняты все меры предосторожности. И вдруг в «Колоколе» появился полный отчет о заседании. Кто его переслал? Непостижимо! До сих пор дело не раскрыто.

Царь заходил по кабинету. За окном в полусумраке качались деревья. И вдруг ему показалось — метнулась тень. Он отпрянул. Дернул за штору. Снова схватил колокольчик.

— Долгорукова ко мне!

Когда князь Долгоруков, запыхавшись, вошел в кабинет, Александр сидел в кресле и барабанил пальцами по столу.

«Не к добру», — подумал начальник Третьего отделения.

— Прибыл по приказанию вашего величества, — сказал Долгоруков, приближаясь к царю.

— До каких пор будет в столице такое безобразие. Вот! Полюбуйтесь! Сегодня нашел под окнами дворца.

Александр кинул Долгорукову газету. Мягко прошелестев, она упала на ковер. Долгоруков наклонился, поднял. Так и есть, «Колокол» Герцена. Это хуже нашествия врагов! Он уже не знает, что предпринять, чтобы в Россию не попадали эти дерзкие листки.

— Что вы смотрите? — ледяным тоном спросил царь. — Лю-бу-е-тесь! Может быть, вам нравится стиль этого проходимца? Или, может быть, вы тоже заодно с ним?

— Ваше величество, мы делаем все возможное...

— Bravo! Они делают все возможное! — Лицо царя медленно багровело. — Тогда откуда же, милостивый государь, берутся эти листки? Или шутки ради я сам печатаю их в своем дворце? Безобразия начались еще тогда, девятнадцатого мая. Какие-то девчонки бросали ему цветы.

— Она выслана, ваше величество, и другие...

— Так вот. Если вы не наведете порядка, поедете вслед за ними. Вы поняли? Вы меня поняли?!

Сжимая в руках пресс-папье, Александр встал. Долгоруков никогда не видел еще царя в таком

бешенстве. Глаза его налились кровью. Левый угол рта подергивался. Уже не сдерживая гнева, он кричал:

— Как вы работаете? Где ваши тайные агенты? Денег вам мало — ассигнуем. Людей мало — найдите. Каждого подозревать! За каждым следить! Каждого сомнительного арестовывать! И ссылать!

Пресс-папье с грохотом опустилось на стол. Подпрыгнула и звякнула крышка на чернильнице.

За дверью, по углам испуганно жались приближенные.

— Что случилось? Почему отменен прием? Кого, за что арестовывать?

Владимир Ковалевский спал прямо у стола, положив голову на гранки. Как он устает за последнее время! Наконец-то исполнилась его мечта — он открыл свое маленькое издательство. С трудом, но он все же собрал деньги, нужные для начала. Пришлось одолжить у того, у другого. Но зато — какая радость! Он сможет издавать книги, которые давно и очень необходимы для просвещения народа. Это будут книги по разным отраслям знаний: по физике, по геологии, по истории, по медицине. Нужно, чтобы все знали о французской революции и о том, какие на свете есть животные, и что было в доисторическую эпоху, и как устроен человек...

За последнее время значительно шагнули вперед естественные науки. Появились гениальные исследования Чарлза Дарвина.

Конечно, такие книги издавать будет нелегко. Прежде всего — цензура. Она будет ставить преграды. Надо суметь их обойти. Здесь порой нужна находчивость и твердость. Здесь нужно мужество.

Такие книги не принесут много прибыли. Но Ковалевский об этом и не думает. Он хочет издавать книги по дешевой цене, студентам делать скидку, в библиотеки и воскресные школы рассылать бесплатно. Из долгов как-нибудь выпутается. А сам он привык жить совсем скромно. Он давно уже знает, как бывает нелегко заработать на хлеб.

Когда-то, когда ему было шестнадцать лет и он учился, отец по бедности не смог присылать ему денег на житье. Пришлось зарабатывать самому. Он ходил в издательства, брал переводы. Он отлично знал языки — английский, немецкий, французский, польский, позднее изучил итальянский и испанский. Он переводил быстро и точно. Издатели охотно давали ему работу. Теперь он сам и издатель, и редактор, и переводчик. Как много хочется сделать!

Кто-то тихонько тронул Ковалевского за плечо. Владимир вскочил.

— Ты что же это — и дверь не закрываешь! — перед ним стоял Василий Слепцов. — Я кое-что принес, — сказал он тихо и достал сверток.

Ковалевский запер входную дверь. Опустил шторы. Выкрутил фитиль в лампе. Перед глазами вспыхнули строчки: «Чернышевский был вами выставлен к позорному столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему?»

Владимир бережно взял газету в руки.

— Как смело, как метко! Выжег раскаленное клеймо на лбу всесильного венценосца!

— Это клеймо никогда не будет смыто с царского рода. Мы должны размножить газету. Пусть побольше людей узнает об этом.

— Попробуем. Ночью. У меня в типографии. Это будет ответом на аресты наших друзей. На то, что выслана Маша. И знаешь, Вася, еще одно дело я задумал. Эта мысль зародилась у меня давно, еще там, в

Лондоне. Хочу преподнести подарок русскому обществу. И Александру Ивановичу. За все, что он делает для нас... Только б удалось!

Через некоторое время на столе у цензора появилась рукопись. Цензор полистал ее, посмотрел заглавие.

Опять издание Ковалевского. За последнее время он засыпал цензуру своими книгами. Впрочем, очень милый молодой человек, приветливый, обходительный.

О, да книга совсем и не научная. Это что-то новое для издательства Ковалевского. Беллетристика. Роман под названием «Кто виноват?». Фамилии автора нет. Автор почему-то пожелал остаться неизвестным.

Цензор еще полистал, прочел начало, немного пропустил, опять почитал.

Кажется, ничего нет предосудительного. Так, роман для легкого чтения.

Описывается помещичья жизнь, девушка-воспитанница. Приезжает учитель. Дальше идет, как во всех романах. Любовь между девушкой и учителем. Свадьба. Счастливая семейная жизнь. Но вот появляется некий соблазнитель, напоминающий Онегина, и — весьма печальный конец.

Как будто вредных идей нет. Книга может понравиться даже в светских кругах.

Обмакнув перо в чернильницу, цензор размашисто написал: «Разрешаю».

Книга вышла из печати. Хотя на ней не было имени автора, но ее сразу узнали. Журнал «Книжный вестник» благодарил Ковалевского «... за красивое, опрятное и крайне дешевое издание этого известного сочинения от лица всей широкой публики».

В правительстве вдруг спохватились. Как! Непостижимо! Пропустили сочинение Герцена! Герцена, который навеки запрещен самим царем!

Грозные бумаги полетели из Главного управления по делам печати в Цензурный комитет. Кто разрешил?

Запретить! Изъять! Конфисковать!
Но книга была уже раскуплена...

ГЛАВА VIII

Удивительно прозрачная вода в реке Роне. Струи — как хрустальные. Каждый бугорок, каждый камешек виден на дне. Вот к берегу подбежала стайка рыбок. Аня присела к самой воде, ладошкой хочет поймать малька. Белый лебедь томно повернул голову и поплыл к девушке.

Как Аняте здесь нравится, в Женеве! И огромное синее озеро, и парки, и горы.

Но больше всего она любит бывать тут, на этом уединенном островке посреди быстрой Роны. Вокруг все так зелено. Гордо высятся пирамидальные тополи. Плакучие ивы склонились к воде.

В центре островка — статуя великого философа Жан Жака Руссо. Он, как живой, сидит задумчиво на груди своих книг. Этот памятник поставили граждане Женевы своему знаменитому земляку.

Вот уже почти месяц как Корвин-Круковские в Женеве, Елизавета Федоровна, Анята и Софа. Софа усиленно занимается математикой. Здесь она увлеклась еще естествознанием. Собирает гербарий. Купила микроскоп и рассматривает срезы растений, наблюдает жизнь в капельке воды.

Елизавета Федоровна старается дочерей далеко не отпускать одних. Но как скучно ходить всем вместе по ровным аллеям Английского парка!

Когда Аняте удастся ускользнуть от бдительного ока генеральши, она бежит сюда, к Великому Женевцу! Здесь, на скамейке возле Жан Жака Руссо, она читает, думает, мечтает. Она прочла его книги. В них он говорит о свободе и счастье людей. «Человек рожден свободным...» Почему же, почему вокруг столько рабов?

И она, она тоже рабыня, рабыня традиций, рабыня семейного уклада.

Недавно Аня взяла из женевской библиотеки книгу еще одного мыслителя, Кампанеллы. Он рисует такую яркую, красочную жизнь. Люди все равны. Нет ни богатых, ни бедных, ни повелителей, ни рабов. Невиданного расцвета достигли наука и искусство. И труд, радостный и желанный, стал возможен для всех и необходим.

Вот это счастье!

Но как достичь такой жизни? Где этот полный света город Солнца?

Теперь Аня читает Шарля Фурье. Может быть, у него она найдет ответы на волнующие вопросы?

Невдалеке слышались голоса и звонкий смех. По узкому пешеходному мостику, ведущему на островок, шли две молодые женщины в легких светлых платьях. Вот они поравнялись со скамьей, где сидела Аня, и вдруг одна из них вскрикнула:

— Боже мой, да ведь это, кажется, Аня. Какими судьбами?

Аня узнала своих петербургских знакомых, Наташу Корсини и Ольгу Левашеву. Оказывается, они уже несколько лет жили в Женеве.

— Ты знаешь, я замужем, — сказала Наташа, когда прошли первые восторги от встречи. — Мой муж Николай Утин. Мы были знакомы еще в Петербурге. Я ведь ходила на лекции в университет. Потом вместе со всеми участвовала в студенческих волнениях. И была посажена в Петропавловскую крепость. Но поженились мы здесь, в Женеве.

Аня вспомнила, что про Утина одно время много говорили в Петербурге.

Одни с укором, другие с одобрением. Говорили, что он был близок к Чернышевскому. Руководил студенческим движением.

— Да, его хотели арестовать, но ему удалось бежать, — сказала Наташа. — Правительство требовало его возвращения, но он не поехал. Его судили заочно и приговорили к смертной казни.

— Однако, я вижу, что и ты интересуешься социальными вопросами, — Наташа взяла книгу из рук Анюты. — Фурье! Было время и мы им увлекались. Но это все ведь красивые сказки. Ты ничего не читала Маркса?

— Нет.

— Я принесу тебе «Коммунистический манифест». Ты, верно, даже не знаешь про Международное товарищество и что послезавтра здесь у нас, в Женеве, откроется первый конгресс?

О конгрессе Анюта знала, читала в газете.

— Надо пораньше выйти на улицу, чтобы увидеть делегатов, — сказала Ольга.

Они условились встретиться в день открытия конгресса.

Утром третьего сентября в половине девятого Анюта неслышно выскользнула из номера. В вестибюле отеля ее уже ждали Наташа и Ольга. С ними был Николай Утин.

— Рад видеть землячку, — сказал он, крепко пожимая руку Анюте. — Я знаком с вашей двоюродной сестрой, Наташей Армфельд. Убежденная революционерка. Она по-прежнему живет в Москве?

— Да. Мы детьми очень дружили, когда мы тоже жили в Москве.

Анюта смотрела на Николая Утина и думала: неужели это тот сокрушитель царских устоев, которого боялось правительство, который был приговорен к смертной казни? Ей казалось, что он должен быть строгим, неприступным, а у него была такая милая, даже застенчивая улыбка и карие глаза смотрели дружелюбно и одобрительно сквозь очки в железной оправе.

Разговаривая, они все четверо вышли из отеля. На улицах обычно по-провинциальному сонной Женевы толпился народ. Люди стояли у воззваний и листовок, наклеенных на стены домов.

«Освобождение рабочего класса есть дело самого рабочего класса».

«Сила рабочих в солидарности. Вступайте в свое Международное товарищество рабочих. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

— Кто такие пролетарии? — негромко спросила молодая женщина, читая листовку.

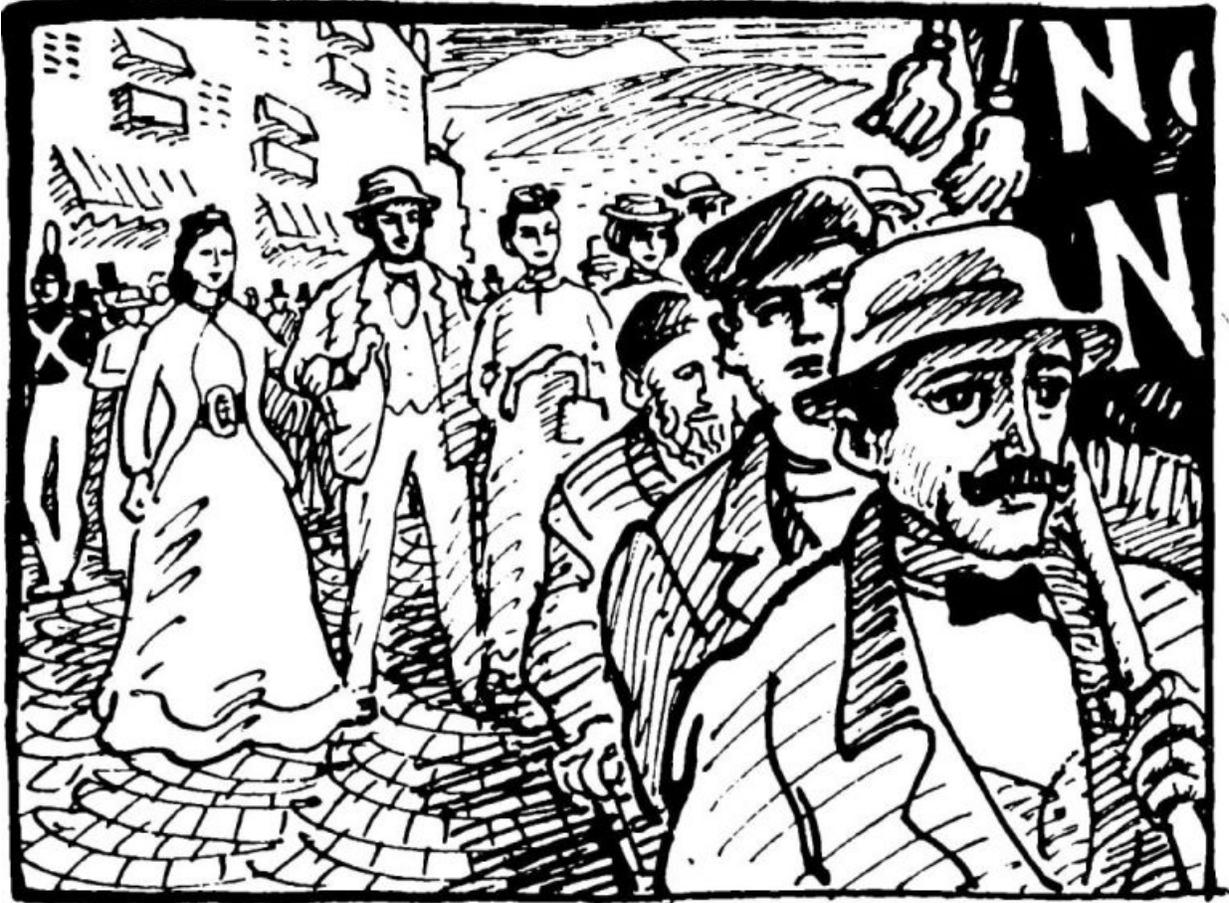
— У кого руки в мозолях. Рабочие, — ответил стоящий рядом мужчина.

Послышалась музыка. Все оглянулись, бросились к краю тротуара.

Посреди улицы двигалась процессия празднично одетых людей. Впереди развевалось красное знамя, на котором золотыми буквами было написано: «Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей».

— Как много идет народа. Ты ведь говорил, делегатов только шестьдесят, — сказала Наташа, обращаясь к мужу.

— Да. Остальные — рабочие Женевы и окрестностей, часовщики, каменщики, ювелиры, столяры. Значит, они поддерживают конгресс.



Утины, Левашева и Анюта тоже присоединились к колонне. Они дошли до трактира Трайбера, где был снят зал для заседаний конгресса. Туда пропускали только по мандатам.

Анюта заспешила домой. Нужно было появиться в отеле до того, как встанет генеральша.

— Я приду к тебе на днях, — сказала на прощание Наташа. — Опять вытащим тебя из домостроя.

— Вряд ли это удастся.

— Ничего. Не будем терять надежды.

Наташа действительно через три дня появилась у Корвин-Круковских.

— Пойдем сегодня на рабочее собрание, — шепнула она Анюте.

Елизавета Федоровна встретила Наташу приветливо. Она знала родителей Наташи, князя и княгиню Корсини, бывала у них в Петербурге.

Наташа весело болтала, описывая жизнь Женевы, вечера и балы, где присутствовали высокопоставленные лица, князья, и графы, и австрийский эрцгерцог. Повела о новинках в женевских туалетах и у какой портнихи можно заказать платье по последней парижской моде. Говорила о своих родителях, об общих петербургских знакомых. Однако ни словом не обмолвилась о том, что она замужем, что ее муж революционер, за которым охотится царское правительство, и что он жив только потому, что не явился на вызов в Петербург.

Генеральша с удовольствием слушала Наташу. Такая живая, умная и, по-видимому, серьезная девушка. И когда Наташа стала восторгаться погодой и попросила Елизавету Федоровну отпустить Анюту в парк и потом на концерт, генеральша согласилась.

В парке их ждали Ольга и Николай.

— До собрания еще есть время. Пойдемте посидим в кафе.

Там было много народа. С трудом они нашли столик.

— Я вижу здесь делегатов конгресса, — сказал Утин. Он, Наташа и Ольга поздоровались с пожилым человеком. Высокий лоб, внимательный взгляд серых глаз. В бороде серебрилась седина.

— Это Иоганн Филипп Беккер, руководитель немецкой секции Интернационала в Женеве, — сказал Николай Анюте.

Беккер сидел за соседним столиком в компании двух мужчин. Видно, они не остыли еще после недавних споров на заседаниях конгресса.

— Вы меня не убедите, — горячился высокий молодой брюнет, видимо, француз. — Я считаю, что женщина не должна работать. Сама природа точно

указала женщине ее обязанности. Забота о муже и детях, охрана семейного очага — вот ее святое дело! Да, да. Во имя свободы женщины мы должны добиваться ликвидации женского труда.

— Я не согласен с вами, — спокойно сказал Беккер. — Как раз наоборот. Во имя свободы женщины мы должны добиваться, чтобы она могла работать во всех областях наравне с мужчинами.

— Наконец, вы забываете еще одно обстоятельство, — вмешался третий из сидевших за столиком. — Участие женщин в производстве увеличивает число борцов за освобождение рабочего класса.

— Нет, я остаюсь при своем мнении. Работа для женщин губительна. Они потеряют свою привлекательность и женственность. Это поведет к вырождению женщин, — сказал снова француз.

— Наоборот, к умственному и физическому расцвету, — возразил Беккер. — Да что говорить. Давайте спросим самих женщин. В том-то пока и беда, что их не было у нас на конгрессе.

Беккер вдруг встал и подошел к столику, где сидел Утин и его три дамы.

— О, вы, наверно, слышали наш спор. Такие же дебаты велись на конгрессе. Скажите, где истина? Вот вы, насколько я слышал, еще не искушены в делах революционных, — и он с улыбкой обратился к Анюте: — Как вы считаете, должна ли женщина работать?

Разговор за ближайшими столиками смолк. Все повернулись к Анюте.

Анюта почувствовала, как кровь прихлынула к лицу. Это был вопрос, над которым она столько раз думала. Это было то, к чему она так стремилась. И вот теперь именно от нее ждут ответа.

— О, я за то, чтобы женщины работали, — сказала Анюта. — Эти четыре стены... Это тюрьма... Мы хотим на

волю... Работать и жить!

— Bravo! Vivat! — раздались возгласы. — Русская мадемуазель правильно понимает, в чем счастье женщин!

На собрание они шли все вместе — Утины, Беккер, высокий француз и еще несколько человек. Беккер расспрашивал Анюту о России. Француз все пытался что-то доказывать.

— Вы рассуждаете совсем как мой отец, — сказала Анюта. — Неужели у вас во Франции все так думают?

— Не все. Но мы, последователи Прудона...

— Смею вас уверить, что их совсем немного, — сказал Беккер.

— А ваша жена разве не стремится к самостоятельности? — лукаво спросила Анюта.

— О мадемуазель, француз никогда не бывает женат, если возле него такая прелестная девушка, как вы, — при общем смехе ответил француз.

Огромный зал бывшего масонского храма Тамплъ Юник^[1], где вмещалось две тысячи человек, уже переполнен. В Женеве, видно, велик интерес к конгрессу, рабочие хотят услышать, что скажут делегаты.

Первым выступает один из членов французской делегации, переплетчик Варлен. Он говорит горячо, убежденно. Его молодое, матово-бледное лицо с круглой бородкой выражает решимость и волю. Из-под сурово сдвинутых темных бровей брызжет жаркий свет.

— Посмотрите вокруг, — говорит он. — Во Франции, в Англии, в Швейцарии, в России — везде одна картина. У одних — безумная роскошь. У других — безысходная нищета. Люди умирают от голода на порогах лавок, набитых снедью. До каких пор будем терпеть? Надо сплотиться и силой взять то, что нам принадлежит по праву. Два года тому назад мы создали Международное товарищество рабочих. Призываю всех встать под его

знамя. В единении — сила. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Зал отвечал бурными аплодисментами.

Потом выступали другие ораторы. Говорили о профсоюзах. Профсоюзы — это сила. Они не должны стоять в стороне от политической борьбы. И хватит работать по четырнадцать часов. Надо требовать установления восьмичасового рабочего дня. А церковь должна быть отделена от государства.

Кто-то попытался доказывать, что политическая борьба не дело рабочего класса, рабочих может интересовать только борьба за экономические права. Но сразу же выступили другие ораторы, говоря, что без политической борьбы рабочие не смогут добиться экономической победы.

И во всех речах звучала гордость по поводу того, что наконец-то легально собрался первый рабочий конгресс, и призыв к единению.

Анюте уже нужно было уходить. Но она никак не могла покинуть собрание. Все было так ново, интересно.

Наконец, после выступления Иоганна Беккера, она тихонько встала и вышла из зала.

Она летела домой как на крыльях. Все, все ей теперь казалось иным. Она знала, за что бороться. У нее была цель жизни — посвятить себя делу освобождения рабочего класса. Но еще во многом нужно разобраться, осмыслить. Столько было впечатлений, столько новых понятий. В руках она сжимала тоненькую книжку, подаренную ей Наташей. Это был «Манифест Коммунистической партии», изданный на немецком языке.

Через два дня было закрытие конгресса. Лазурная гладь Женевского озера огласилась смехом, пением. Это женевская секция устроила прощальную прогулку делегатов и их друзей на лодках. Каждая лодка была украшена национальным флагом своей делегации. На

мачте одной из них развевался красный флаг Интернационала с его девизом: «Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей».

Анюта была вместе со всеми. Она сидела в лодке рядом с Наташей, Ольга — с женой Беккера. Утин и Беккер гребли.

Беккер был весел, шутил. Все лицо его светилось радостью. Еще бы! Пришлось немало поработать. И побороться. Но как, в общем, хорошо прошел конгресс!

Маркс не мог на нем присутствовать. Однако он отдал много сил на подготовку конгресса. Все решения были приняты в духе принципов Международного товарищества рабочих. Это было большой победой Маркса и его сторонников.

«Что ты скажешь о конгрессе? — писал Иоганн Беккер Марксу. — ...Теперь можно сказать, что все сошло против ожидания хорошо и мы выиграли дело».

ГЛАВА IX

Загородная резиденция царя, Большой дворец в Петергофе ярко освещен. Свет от окон падает на главную аллею фонтанов, на золоченые статуи. Словно живой стоит могучий Самсон, раздирающий пасть льва. Тритоны трубят в морские раковины, возвещая победу. Шумно сбегают каскады воды, пенясь на уступах.

В листве деревьев, на кустах, на газонах вспыхнули фонарики. Струи фонтанов загорелись разноцветными огоньками.

К главному подъезду непрерывно подкатывают богатые экипажи. Лакеи соскакивают с запяток, почтительно отворяя дверцы.

Сегодня здесь бал. По широкой, устланной коврами парадной лестнице великолепного вестибюля, украшенного вензелями, гербами, лепными гирляндами цветов, поднимаются важные сановники в расшитых золотом мундирах, господа в черных фраках со звездами орденов, гвардейские офицеры. Длинные шлейфы роскошных платьев дам волочатся по ступеням.

Гости проходят в залы. Гремит музыка. Огни люстр дробятся в хрустальных подвесках, сверкают в позолоте стен, отражаются в бесчисленных зеркалах. На высоких плафонах в облаках резвятся амуры и купидоны. Узорчатый паркет блестит под стать зеркалам.

Гости садятся вдоль стен на обитые шелком кресла и диваны, подходят друг к другу, обмениваются приветствиями. Слышен французский говор, звон шпор, смех. Ждут выхода императорского семейства, чтобы начать танцы.

Полная, важная дама, жена коменданта петергофского дворца, генерал-лейтенанта Евреинова, встречает гостей. Она со всеми изысканно любезна,

спрашивает о здоровье, приглашает в зал. Она все время улыбается. Однако в глазах ее застыла тревога. Иногда она с волнением поглядывает на боковую дверь, ведущую во внутреннюю часть дворца. Видно, она чем-то обеспокоена.

Наконец генеральша не выдерживает и, оставив гостей, поспешно выходит из зала.

В скромно обставленной комнате бокового флигеля дворца над книгой склонилась черноволосая девушка. Ее твердо очерченные губы выражают силу воли. Иногда она поднимает голову от книги и глубоко задумывается.

Вдруг открывается дверь. На пороге генеральша.

— Жанна! Почему ты еще не одета? Ведь сейчас начнутся танцы!

— Мама, я уже сказала. Я не хочу бывать на этих мерзких балах. Эти пустые, пошлые разговоры... Я не выношу эту лезть. Отпустите меня учиться.

— Вечно одно и то же! Ведь ты уже говорила об этом с отцом. Он не согласен. Ну зачем тебе учиться? Ты хочешь стать нигилисткой со стриженными волосами?

— Да, нигилисткой. И в этом нет ничего плохого. Лучше умереть, чем жить такой бесцельной жизнью, как живете вы!

— О, она убьет меня! Ну выйди хоть сегодня. Сейчас появится великий князь Николай Николаевич. Ты же знаешь, как он к тебе относится! Из-за тебя может пострадать карьера отца!

— Да, конечно, вы готовы дочь продать за карьеру. Хорошо, я сегодня выйду. Но завтра я уеду в Петербург к Круковским.

— Как, разве они вернулись? Ну что ж... Передашь привет Лизхен.

Генеральша облегченно вздыхает. Пусть едет. Только сегодня бы вышла. Ох уж эта нынешняя молодежь! Раньше было не так. Боже мой! Если сам великий князь оказывал внимание...

Рукой, затянутой в перчатку, генеральша звонит в колокольчик. Входит горничная.
— Одеваться барышне!

Анюту сегодня не спится. То ли мешают тревожные мысли, или духота в комнате. У тетюшек не комнаты, а какие-то клетушки, загроможденные массой безделушек и разными пуфочками, этажерками, шифоньерками — всем тем богатством, которое в течение жизни скопили две аккуратные немки.

Немного полежав, Анюта встала. Она вышла на балкон.

Петербургское небо смотрело хмуро, неприветливо. Даже не верилось, что где-то там, в Швейцарии, откуда они только недавно вернулись, небо могло быть таким голубым.

Женева... Анюта часто вспоминала огромное синее озеро, стремительную Рону и свой островок, Наташу, их разговоры, рабочее собрание. Как было все интересно и необычно! Но что делать теперь?

Зиму они будут жить в Петербурге. И по-прежнему эти стены старого дома на Васильевском острове. Одну ее никуда не отпускают. Как тюрьма. Весной они уедут в Палибино. Там еще хуже...

Анюта потрогала стебельки увядших цветов, растущих в ящике на балконе. Облокотившись на перила, стала смотреть вниз.

Улица постепенно оживала. Вот проехала на базар телега с птицей. Гуси высовывали длинные шеи из клеток. Молочница пронесла кувшины с молоком. Прошли гурьбой девушки в кацавейках.

«Верно, на ситцевую фабрику, — подумала Анюта. — Это и есть те, кому «нечего терять, кроме своих цепей».

Анюта вспомнила «Манифест», подаренный ей Наташей. Она прочла его тогда же, в Женеве. Яркость языка, глубина мыслей ее поразили. Так вот в чем дело! «Насильственное ниспровержение всего существующего строя». Она до тех пор верила Сен-Симону и Фурье. У них все выходило очень красиво. Но это неосуществимо. Никто добровольно не отдаст своего богатства...

В дверь кто-то постучал. Анюта открыла. На пороге стояла ее родственница и подруга Жанна Евреинова. Они расцеловались.

— Покажись, какая ты стала. Мы с тобой так давно не виделись, — сказала Анюта. — Но что ты так рано? Ничего не случилось?

— Я прямо с бала. — Жанна устало опустилась на стул. — Услышала, что вы приехали, и захотела тебя увидеть.

— На балу было весело?

— Для тех, кто любит поклонение и лесть. А мне это противно. Просто купила проезд к вам. Ну, расскажи, что на свете хорошего. Или везде так, как у нас?

— Нет, не везде. Посмотри, что я привезла. Это замечательная книга.

Анюта отпирает ящик письменного стола и достает «Манифест». Жанна берет книжку, перелистывает.

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Что это значит? — спрашивает она.

О, теперь Анюта знает, как объяснить. Она рассказывает Жанне про Женеву, про случай в кафе, про собрание в Тампль Юник...

— В Женеве я встретила Наташу Корсини и Олю Левашеву. Наташа замужем за Утиным — помнишь, про него писали в газете.

— Ну и как они живут? Их не тревожит женевская полиция?

— Пока все спокойно. Утина уважают среди женевских эмигрантов. В Женеве я познакомилась с

Беккером, он друг Маркса.

— Послушай, я недавно читала статью Ткачева в «Русском слове». Он там говорит о Марксе. Это тот Маркс, о котором и ты говоришь?

— Конечно. Маркс — руководитель Международного товарищества рабочих. Немецкий революционер, живет сейчас в Лондоне. Вот в этой книге, которую ты держишь в руках, сказано столько правдивого, умного. Может быть, сначала тебе будет даже страшно — там, где сказано про уничтожение частной собственности богачей, это ведь и нас касается. Но иначе быть не может. Почему, спрашивается, одни должны жить в роскоши, другие в нищете?

— Если бы мне разрешили учиться, я бы все отдала, — горячо говорит Жанна.

— Отец так и не соглашается?

— Нет. Он сказал, что скорее согласен увидеть меня в гробу, чем курсисткой со стриженными волосами. — Жанна отвернулась, стараясь сдержать слезы. — Я иногда думаю: ну пусть, пусть будет по его желанию...

— Что ты, что ты, — Анюта обняла подругу. — Это так на тебя не похоже. Вот Софа тоже хочет заниматься математикой, а отец против. Говорит: «Зачем тебе, это дело не женское».

Они долго молчали.

— Послушай, — сказала Анюта, — здесь сейчас Надя Сулова. Она ведь кое-чего добилась. Очень волевая. Она учится в Цюрихе. Скоро будет врачом. Первая русская женщина-врач. Я с ней познакомилась еще прошлой зимой у Ольхиных. Мы тогда о многом поговорили... Пойдем к ней. Она живет на Сергиевской. Может быть, она нам что-нибудь присоветует.

После обеда Анюта, Софа и Жанна пошли в гостиную. Анюта стала что-то наигрывать на фортепьяно, Жанна села писать в Москву письмо своей двоюродной сестре, Юлии Лермонтовой, Софа читала.

Вошла генеральша. Анюта закрыла крышку фортепьяно.

— Мамочка, — сказала она, подходя к Елизавете Федоровне, — у нас у всех такое настроение... Мы хотим пойти в церковь, к вечерне...

Елизавета Федоровна удивилась. Подобное желание она слышала от Анюты впервые. Обычно дочь и в большие праздники не любила ходить в церковь. Ну что ж! С годами, видно, приходит серьезность.

— Хорошо, — говорит генеральша. — Идите, только в нашу ближнюю, в храм Екатерины. Жаль, что мне нездоровится. Я пошла бы с вами.

Девушки быстро оделись и вышли из дома.

Они идут к церкви, но, завернув за угол, откуда их уже нельзя видеть, переходят на другую сторону, через мост, и там нанимают извозчика.

Возле серого каменного дома на Сергиевской улице они остановились. Поднялись на второй этаж. Анюта дернула колокольчик.

Дверь отворила невысокого роста девушка в скромном платье, с толстой темно-русой косой, перекинутой на грудь, и серьезными серыми глазами.

— Здравствуйте, Надя, — говорит Анюта. — Мы с вами знакомы. Помните...

— Как же, очень хорошо помню. Вы Анюта Корвин-Круковская. Рада вас видеть. Проходите, пожалуйста.

— А это моя сестра Софа, — говорит Анюта, — и подруга Жанна Евреинова. Мы пришли поговорить с вами о своих делах, которые нас волнуют...

Надя с любопытством и симпатией смотрит на рослую брюнетку с решительными чертами лица и на круглолицую смуглянку, по виду совсем еще девочку, с пристальным взглядом больших блестящих глаз. Какие у них могут быть дела? Конечно, те, что теперь у всех мыслящих девушек: «Как нам поступить учиться? Как стать равноправными в обществе?»

Что ж, как сумеет, она поможет.

— Прошу в мою обитель, — говорит Надя приветливо, отворяя дверь своей комнаты.

Через час девушки вышли от Сусловой веселые и возбужденные. Да, они сделают именно так. И вырвутся, наконец, на свободу! Надя указала им верный путь.

Оставшись одна, Сулова долго сидела задумавшись. За окном догорал вечерний закат. Легкие облака, освещенные изнутри, как какие-то причудливые пурпурные корабли, медленно плыли по небу. А там, на краю горизонта, было темно. Солнце садилось в тучу.

«Завтра будет ветер», — вспомнила Надя обычное предсказание отца.

— Не только ветер, буря нужна, — вслух сказала она.

Вот эти девушки пришли к ней. Они из «высшего общества». И тоже бесправны. А что говорить ей, если ее отец был крепостным крестьянином? Хорошо, что за честность, за сметливый ум, за трезвое поведение еще раньше, до отмены крепостного права, графу Шереметеву вздумалось дать своему холопу вольную. А то разве могла бы она и мечтать о том, что теперь стало целью ее жизни!

Надя вспомнила детство. Покосившиеся домишки села Панино Нижегородской губернии. Заросший тиной пруд.

Все в этом селе было запущено, бедно. Граф имел много поместий. Наверное, он забыл им и счет. Потому что здесь никогда и не бывал.

Он поставил Сулова управляющим имением. Сколько мог, Прокофий Григорьевич старался привести в порядок хозяйство. Граф перевел его в село Макарьево, под Нижний Новгород.

Всей семьей они плыли на барже по Волге. На всю жизнь Надюшка запомнила широкий водный простор, вечерами дым костров на берегу и заунывные песни бурлаков.

В селе Макарьево они прожили четыре года. Потом Шереметев взял Сулова в Москву, а затем в Петербург и сделал его главноуправляющим всеми имениями.

Прокофий Григорьевич хорошо знал грамоту и счет. Еще мальчиком научился он этому у дьячка. Он любил читать газеты, журналы, книги. Высоко ценил он в людях знания и ничего не жалел для того, чтобы дать детям образование.

Старший сын, Василий, стал юристом. Девочки — Поля и Надя — окончили пансион.

Но Наде этого казалось мало. Неужели теперь она должна замкнуться в узком семейном кругу? И только?

Надя стала много читать, заниматься самообразованием. Она лелеяла одну мечту... Но все это казалось таким несбыточным...

Однажды она поведала обо всем отцу.

Отец всегда отличал младшую дочь. Он видел ее старания, ее успехи.

— Эх, Надюшка! Зачем ты не парень. Не достигь тебе того, что ты задумала. Все бы отдал я, чтоб помочь тебе, да не знаю как, — сказал он. И, вздохнув, добавил: — Да и время для нас ненадежное. Чую я, что надо мной собирается гроза.

Он оказался прав. Графу Шереметеву донесли, что Сулов не заботится о графских интересах, а «держит сторону крестьян». Это было действительно так. При разделе земли после отмены крепостного права Прокофий Григорьевич старался выделить крестьянам лучшие угодья.

Шереметев уволил Сулова.

Прокофий Григорьевич покинул Петербург и уехал жить в Нижний Новгород.

Надя с семьей не поехала. Она упорно стремилась к цели. В деревнях столько больных, столько умирает людей, которых можно бы спасти. Но нет ни врачей, ни даже фельдшеров. Надя хотела стать врачом. Это была

дерзкая мысль. В России не было ни одной женщины-врача.

Вместе со своей подругой, Машей Боковой, Надя стала посещать Медико-хирургическую академию. Девушки пробирались на лекции профессоров, преподаватели пускали их в лаборатории, в прозекторскую. С ними занимались, как со всеми студентами. Все это, конечно, неофициально. Но девушки были счастливы.

Как вдруг грянул гром. Правительство спохватилось. Ведь так было не только в Медико-хирургической академии. То в одном, то в другом высшем учебном заведении за столами над тетрадками рядом с мужскими головами склонялись юные женские головы. Разве можно такое дозволить? Во времена незабвенного императора Николая I таких вольностей не было.

Правительство издало новый устав, где строго-настрого запрещалось допускать женщин в высшие учебные заведения, ни на лекции, ни на какие-либо другие занятия.

Было горько и обидно. Что делать? Сулова решила ехать за границу. Может быть, там ее примут учиться...

Надя открывает ящик стола, достает дневник.

«Жизнь, жизнь! Сколько я мечтаю о тебе, сколько думаю, сколько учусь для тебя, но еще не сделано мною ни одного шага по избранной дороге: я все еще готовлюсь, все еще не пришел мой час...».

Это она написала на первой странице дневника тогда, когда отправлялась в Швейцарию, в Цюрих. Тут же лежал листок, начало письма к кому-то из друзей:

«...Мои дела еще в неопределенном состоянии. С целью завоевать желаемое у жизни я приготовилась к бою, к бою за равенство прав. С знаменем, на котором выставлен этот девиз, я борюсь с сильными мира сего... Чем это кончится — я не знаю, я знаю одно то, что не положу своего оружия, потому что во мне живет

убеждение, что я борюсь за правое дело, от которого позорно отступить».

Надя перелистывает страницы дневника, вспоминает прошлое. Теперь она уже близко к цели.

А тогда, вначале... Как все тогда было трудно! Ведь и в Цюрихе ее не хотели принять в университет.

— Женщина-студентка — явление еще небывалое. Поэтому вопрос о зачислении не университетский, а государственный. Все, что я могу сделать, это просить господ профессоров терпеть вас на лекциях, — сказал ректор. — Да, только терпеть! — повторил он.

А потом ей сообщили письменное решение:

«Принять мадемуазель Суслову в числе студентов потому только, что эта первая попытка женщин будет последней, явится исключением и избавит комиссию от решения подобных вопросов в дальнейшем...».

«Нет, господа профессора, — думает Надя. — Плохо вы знаете нас, женщин. Мы из упрямого племени. Вы видели лица этих девушек, которые приходили ко мне сегодня? А их глаза? В них твердость и решимость. Эти девушки не отступятся от своей цели. Как и многие другие».

Обмакнув перо в чернильницу, Надя написала в дневнике: «Ох, как они ошибаются, мои седовласые и лысые коллеги! Они еще не знают нас, русских женщин! Я первая, но не последняя! За мною придут тысячи!»

ГЛАВА X

Снег, снег... Крупными хлопьями падает на землю, кружит метель. Совсем занесло село Волок, худые, кособокие крестьянские избы, плетни, дворы. Только барский дом на горе стоит, красуется, большой, двухэтажный, на двадцать две комнаты, с флигелями, пристройками, амбарами, оранжереями. Это имение богатого псковского помещика Луки Ивановича Кушелева.

На крыльцо легко взбежала девушка. Тонкие черты лица. Чуть припухлые яркие губы. Глаза большие, искрятся, брови взлет.

— Как славно я покаталась на саночках, с горки съезжала, — говорит она матери, снимая шубку.

— Ну, вот и хорошо. Грейся. Скоро будем обедать.

Комната обставлена богато. Саксонский фарфор, серебро. Горят свечи в канделябрах. В печке уютно потрескивают дрова. Седоватая, но еще не старая женщина что-то вяжет, постукивая спицами.

— Барыня, там баба к вашей милости, — говорит, входя в комнату, горничная.

— Какая баба?

— С краю деревни живет, девочка у ней хвора.

— Пусть войдет.

Вошла крестьянка в лаптях, в сером зипуне. Повалилась в ноги.

— Матушка-барыня. Не оставь. Спаси ради Христа. Ребеночек захворал, погибает.

Женщина на коленях поползла к барыне, стараясь поцеловать ей ноги.

— Что ты, что ты, не надо. Иди домой, голубушка. Я приду, полечу, как смогу.

Все в деревне любят жену покойного помещика Кушелева, Наталью Егоровну, любят за добрый нрав, за то, что не гнушается зайти в мужицкую избу. А Кушелева, самую память о нем ненавидят. Лют был и на расправу скор. Редкий день из конюшни не слышно было стонов. Пороли за провинности и без провинностей. Не сдал вовремя недоимки — порка. Забрела телка в барскую усадьбу — порка. Узнает, что девушки без его ведома ходят в лес собирать ягоды — велит травить собаками. Не сумел быстро сдернуть шапку с головы при встрече с барином — сдаст в рекруты.

Первая жена Кушелева, не выдержав жестокости мужа, забрала троих дочерей и уехала совсем в Петербург. Однако на лето дети приезжали в Волок.

Кушелев взял к ним гувернантку, молодую девушку родом из Курляндии. Девушка была тихая, скромная. Но не боялась заступиться за крестьян — не раз отводила от них тяжелую руку барина.

Она вела хозяйство в имении. Знала медицинскую науку — была сестрой милосердия.

Кушелев предложил ей остаться в Волоке. Сначала она не соглашалась. Плакала. Потом покорилась.

Вскоре у нее от Кушелева родился сын, потом дочь. Наталья Егоровна растила детей и все печалилась — кто они, ее дети — незаконнорожденные. Не будет им признания в обществе, не достанется наследства. И будут они по свету мыкаться, как она, в горе и нужде.

А Лука Иванович лютовал по-прежнему, издевался над крепостными.

В одну темную осеннюю ночь с топорами и вилами двинулись крестьяне к барскому поместью. Сжечь усадьбу, убить окаянного тирана — а там хоть на каторгу, хуже не будет.

Первой их увидела Наталья Егоровна. Выскочила в сени. За подол держится девочка, глаза большущие, черные.

Наталья Егоровна упала на колени.

— Опомнитесь. Что вы делаете! Пожалейте детей своих. Посадят вас за решетку, сгноят в остроге.

— Нет больше нашей моченьки. Порешим ирода.

— Разойдитесь по домам. Я поговорю с барином. Послушайте меня. Так будет лучше.

Опустили крестьяне топоры. Потоптались на месте. Простая русская душа незлобива, отходчива. Может, так правда будет лучше. Пусть поговорит — не раз она выручала их.

Разошлись крестьяне по избам.

А за дверью стоит Лука Иванович белее мела. Губы трясутся. Знает он не один случай и в их губернии, когда мужики убивали помещика.

— Спасла ты меня. Век не забуду, — говорит он Наталье Егоровне.

Знал он горькие думы Натальи Егоровны о детях и решил сделать ее своей законной женой, тем более, что первая жена уже умерла.

К детям выписали учителей, воспитателей, учили их и музыке, и французскому, и немецкому.

Когда старшему сыну Александру исполнилось одиннадцать лет, а Лизе восемь, Лука Иванович умер.

Вскоре Александра отправили в Петербург учиться. Лиза осталась с матерью.

— Что задумалась, мама? Пойдем к этой женщине, — говорит Лиза. — Я с тобой пойду.

— Хорошо. Так ведь будем сначала обедать.

— Я не хочу. Пойдем скорей.

Они одеваются и выходят из дома.

— Прикажете запрячь лошадей? — спрашивает кучер.

— Нет, не надо, — говорит Наталья Егоровна.

На краю села стоит избенка. Прелая солома осталась только на половине крыши. Единственное оконце затянуто бычьим пузырем. В избе смрадно, душно. Печь

топится по-черному, без трубы. Потолок и стены покрыты сажей. Сквозь дым едва виден огонек лучины. Коза лежит тут же на подстилке. У печи возится женщина. Увидела барыню, засуетилась.

— Матушка, заступница ты наша, — припала опять к ногам.

— Не надо, не надо. Покажи ребенка.

На печи, завернутая в тряпье, лежала девочка лет пяти.

Рот приоткрыт, глаза закатились, лицо так и пышет жаром. Наталья Егоровна склонилась к ней, осматривает.

— Простудили сильно. Я пришлю порошки. Что ты есть ей даешь?

— Тюрю, — говорит женщина.

Страшный, черный, похожий на кусок глины хлеб, с торчащими из него соломинами, лежит на столе.

— Кору мелем, мякину да чуток муки примешиваем. Только не ест она, все пить просит.

— Я пришлю муки, сахара, — говорит Наталья Егоровна.

Лиза выходит из избы подавленная. Она как автомат идет к дому, садится за обед.

— Ну, что ты, Лизонька, — говорит мать. — Поправим девочку. Я велю еще маслица послать.

— Ох, мама! Может, и поправится девочка. А другие? Сотни и тысячи. Ведь все мужики живут так.

Наталье Егоровне жаль дочь. Все бы отдала она, чтоб не печалилась Лизонька. Пусть живет легко и весело. У нее-то была грустная молодость. Не привелось узнать и любовь.

— Лизонька, я положу деньги в банк и велю на них открыть приют. Пусть живут там дети, которые без матерей и отцов и у которых семья бедная.

Лиза обнимает и целует мать.

— Золотая ты у меня. Давай откроем приют. И все же это не решает вопроса. Наверное, нужно что-то другое...

Лиза уходит в свою комнату. Она садится в кресло-качалку. Пытается читать. Но мысли упрямо возвращаются к одному и тому же. Почему так происходит? Почему одни люди живут богато, в роскоши, а другие умирают от нужды?

Вот у них большое имение, в столице огромный дом. Лучшее петербургское общество съезжается к ним. Балы, маскарады... А крестьяне? Что остается в жизни им? Черная изба и хлеб из мякины?

Лиза не знает, что и как, но нужно что-то делать...

Она перечитала много книг в богатой кушелевской библиотеке. Французские романы, Диккенс... И философские книги, исторические... Все видят нищету, мечтают о равенстве. Но никто не пишет, как этого добиться.

Вот только что она закончила книгу Томаса Мора. Он описывает жизнь на острове Утопия. Там так прекрасно. Все одинаково трудятся и одинаково получают еду и одежду. Всего имеется вдоволь. И это произошло потому, что люди сумели между собой договориться. Но ведь этот остров — фантазия автора. А может быть, действительно нужно всем собраться — помещикам и крестьянам — и договориться. Пусть созовет их царь. Помещики должны отдать все лишнее. Мама бы согласилась. А если б был жив отец?

Лицо Лизы затуманивается.

О, нет! Тот бы не отдал. Ни за что! И велел бы запороть мужика, который посмел бы ему сказать такое.

Тогда, в детстве... Сквозь дымку времени она вдруг видит разъяренные лица мужиков... Топоры и вилы в темных заскорузлых руках... И плачущая мать на коленях... Сколько ей было лет тогда? Мама говорила — шесть. Десять лет тому назад. Но все перед глазами так явно, как будто это было вчера.

Когда она вспоминает, ей становится страшно. Но, может быть, именно так нужно? Применить силу, восстать... Где те люди, которые указали бы путь?

Лиза снова выходит в столовую. Каждый год на зиму она с матерью уезжает в Петербург. Нынче они задержались из-за болезни Натальи Егоровны.

— Мама, как ты себя чувствуешь? — спрашивает Лиза. — Может быть, будем собираться?

— Да, давно пора, Лизонька. Сегодня, когда ты гуляла, принесли почту. Куропаткины спрашивают, что так долго не едем, зовут. Алеша просил отписать, что без тебя на балах скучно и павловцы никого не желают приглашать.

Лиза вспыхнула. Отошла к пяльцам. Отвернувшись, наклонилась над шкатулкой с нитками, стала подыскивать нужный цвет. Сердце сладко замерло. Она вспомнила последний бал в том сезоне. На этом балу их родственник, Алеша Куропаткин, юнкер Павловского училища, познакомил ее со своим товарищем. Весь вечер тогда она танцевала с Сергеем.

— Однако павловцы слишком много воображают, — говорит Лиза, беспечно тряхнув головой, так что черные кудри рассыпаются по плечам. — Будто уж лучше их и танцоров-то нет!

— Как ты думаешь, этот цвет подойдет для листочков? Чтобы видно было, что это первая нежная зелень, — спрашивает она, подходя к матери.

ГЛАВА XI

Книжная лавка на Невском, в доме, где Петропавловская церковь, известна всему Петербургу. Она — место общения передовой молодежи и предмет пристального внимания полиции.

Эта лавка была открыта в 1861 году Николаем Серно-Соловьевичем. При лавке библиотека для чтения. Немало хороших книг разошлось среди народа из этого магазина, немало горячих слов было сказано вполголоса при чтении за столом в библиотеке.

Когда Серно-Соловьевича арестовали и отправили в Сибирь на каторгу, лавка перешла к Черкесову, тоже революционеру.

Владимир Ковалевский здесь свой человек. Почти все его издания расходятся через этот магазин. Вот и сейчас Ковалевский в лавке, помогает Анне Николаевне Энгельгардт и Александру Николаевичу Пыпину.

Анна Николаевна, молодая миловидная женщина в синих очках — жена профессора Артиллерийской академии. Когда она встала за прилавок, от нее отвернулись дамы из общества, а муж чуть не потерял место.

Александр Николаевич Пыпин — двоюродный брат и друг Чернышевского, литератор, историк.

В лавке толпится много народа, студенты, военные, литераторы.

— Дайте, пожалуйста, Брема «Жизнь животных», — просит пожилой человек в пенсне у Анны Николаевны.

— Мне нужно пять экземпляров «Кто виноват?» — обращается молодой человек к Ковалевскому.

— К сожалению, уже ничего нет. Все раскуплено.

— Может быть, хоть один. Мне для студентов университета.

— Ничем не могу помочь.

В магазин входят Анюта и Софа Корвин-Круковские. Они останавливаются у двери, ища кого-то глазами.

— Я здесь, — говорит Надежда Суслова, спеша им навстречу.

— Молодцы, что пришли. — Она с улыбкой, подбадривающе взглянула на девушек.

— Опять выручила церковь.

— Я сейчас познакомлю вас с Владимиром Онуфриевичем.

Суслова подводит девушек к рыжеватому молодому человеку с крупным носом и голубыми глазами, дружелюбно смотрящими на сестер.

— Очень рад, — говорит Ковалевский. — Вы у нас еще не бывали?

Надя вскоре уходит; она ведь приехала в Россию ненадолго, проведать больного отца, и теперь торопится обратно в Цюрих. А Ковалевский рассказывает Анюте и Софе про лавку, какие у них есть книги.

— Я познакомлю вас позже с Анной Николаевной и Александром Николаевичем. Они работают здесь не для денег, а ради идеи, чтобы способствовать просвещению народа, — говорит Ковалевский.

Потом он ведет сестер в соседнюю комнату.

— Это наша библиотека.

За большим круглым столом люди читают газеты, журналы. По стенам шкафы с книгами. Ковалевский подходит к одному из них, показывает книги своего издания.

— Вот здесь по химии, по истории. Очень интересная книга Гексли. А это замечательный труд Чарлза Дарвина. Первый том этого сочинения нам удалось выпустить раньше, чем он вышел на родине ученого, в Англии, — говорит с гордостью Ковалевский.

— Вы увлекаетесь естественными науками? — спрашивает Аня.

— Да. Я окончил юридический курс, но теперь жалею зря потраченного времени.

— А революционные книги у вас есть?

— Нет, таких не имеется, — громко говорит Ковалевский и вполголоса тут же Аняте: — Об этом говорите тише. Мне что-то не нравится тот молодой человек за столом. Наша лавка не дает покоя Третьему отделению.

Аня незаметно оборачивается взглянуть на человека в клетчатом пледе. По виду похож на студента. Как будто внимательно читает газету. Но она замечает, как поверх газеты он шарит глазами по лицам всех входящих в читальный зал.

Софа перелистывает книгу Дарвина. Так вот где Алеша, сын деревенского священника, узнал о происхождении человека! Надо обязательно прочесть эту книгу.

— Вы тоже интересуетесь естествознанием? — спрашивает Владимир Онуфриевич.

Софа не успевает ответить. К Ковалевскому подходит служащий магазина и что-то говорит ему на ухо. Аня слышит слово «жандармы».

— Этого можно было ожидать, — говорит Ковалевский и, понизив голос, обращается к девушкам: — Прошу простить. Я должен вас оставить. У нас сейчас будет небольшое представление: жандармы ищут ветра в поле. Однако я хочу вас попросить об одной любезности: спрячьте эту книгу и ждите меня в Екатерининском сквере.

Он достает из шкафа книгу. Аня прячет ее под шаль, и сестры направляются к выходу. В это время в читальне появляется жандарм.

— Прошу оставить помещение, — обращается он к присутствующим. — Лавка закрывается.

В первой комнате трое жандармов снимают с полок книги, перелистывают их и бросают. Книги валяются на прилавках, на стульях, на полу.

Анюта и Софа с независимым видом, о чем-то болтая, проходят мимо жандармов.

В Екатерининском сквере они сели на дальнюю скамейку. Анюта достала книгу. Она называлась «Кто виноват?», фамилии автора не было. Девушки стали читать вполголоса вслух.

Через полчаса пришел Ковалевский.

— Ну вот, теперь вы наши. Побывали в деле. Что, наверное, трусили, когда проходили мимо жандармов? — весело говорит он.

— Нет, мы шли высоко подняв голову, — улыбается Анюта.

— А что искала полиция? — спрашивает Софа.

— Вот эту книгу, которую вы держите в руках. Вы нас выручили.

Софа протягивает Ковалевскому «Кто виноват?».

— Боитесь. Скорей отдаете книгу, — смеется Ковалевский. — В ней динамит не заложен. Впрочем, она сильнее Динамита. Это замечательная книга. Возьмите ее домой. Теперь она не может находиться в нашей библиотеке. Она изъята, конфискована. Только что же конфисковать — название? Поздненько схватились господа жандармы. Эти книги давно уже на руках у добрых людей.

Сестры и Ковалевский выходят из сквера, идут по Невскому, и Владимир Онуфриевич рассказывает, как была издана книга и кто ее автор.

— О, я знаю о Герцене. Я читала «Колокол» и «Полярную звезду», — говорит Анюта.

Софа тоже хочет вставить словечко о восстании поляков, о том, что Герцен был ведь на стороне восставших, об их соседе, пане Буйницком, который

ушел к повстанцам в леса, но она молчит, стесняется говорить с малознакомым человеком.

День стоит теплый, хотя и пасмурный. На улице много народа. Снуют разносчики мороженого, пирожков, сбитня. Женщины продают ранние весенние цветы.

— А вот калачи горячие, а вот калачи! — громко кричит рослый парень, неся на голове корзинку с булками.

На Невской башне мелодично зазвонили куранты. Вверху на площадке ходит часовой. Он зорко смотрит во все стороны — спокойно ли в городе, нет ли где пожара.

Возле Полицейского моста люди столпились вокруг букиниста. Свой товар он вынимает из холщового мешка и раскладывает тут же на рогожке. Чего только у него нет! Старинные церковные книги, написанные славянской вязью, французские романы, лубочные картинки.

— Порой здесь можно достать кое-что интересное, — говорит Ковалевский. — Даже то, за чем охотится полиция, — добавляет он тихо.

Они идут дальше, переходят через Неву. Навстречу им из университета гурьбой выходят студенты. Вместо пальто у многих клетчатые пледы.

Длинные волосы и бороды придают студентам солидный вид.

Софа смотрит на них, на здание университета. Глаза у нее блестят, на щеках проступает румянец.

Ковалевский, разговаривая с Анютой, искоса поглядывает на Софу и вдруг спрашивает:

— Софа, вы чем мечтаете заняться в жизни?

Софа смущается.

— Я хотела бы здесь учиться, в университете. Заниматься математикой. В ней такая ясность и строгость мысли. Но ведь женщин не принимают...

«Занятная девушка, — думает Ковалевский, — так внимательно слушала, когда я говорил про Дарвина. И,

оказывается, любит математику».

— Я никогда не слышал, чтобы девушки тяготели к столь строгой науке, — с улыбкой говорит он Софе.

— Уже близко дом, — замечает Анюта. — Мы дальше пойдем одни.

Ковалевский прощается.

— Мне сказала Надежда Прокофьевна, что вы хотите обрести свободу, уйти из родительского дома. Я помогу вам, — говорит он, крепко пожимая руки сестрам.

ГЛАВА XII

В Петербурге женское общество волновалось: «Почему нам не дают возможности учиться? Почему нас ставят ниже мужчин? Разве мы не сумеем?»

На съезде естествоиспытателей писательница Елена Конради подала записку.

Записка была составлена красноречиво и страстно. В ней звучал голос половины человечества, рабынь, задавленных вековыми традициями и законами. Ставился вопрос о разрешении женщинам получать высшее образование.

Когда закончили чтение записки, раздались аплодисменты. Они звучали громко, со всех концов зала. Ученые приветствовали тяготение женщин к знаниям.

Женщины решили подать петицию в правительство. С этого дня двери трех петербургских домов не закрывались. Это были дома вожаков женского движения — Анны Павловны Философовой, Надежды Васильевны Стасовой и Марии Васильевны Трубниковой.

Сюда шли молодые девушки и женщины подписывать петицию. В одну неделю было собрано более четырехсот подписей.

Через несколько дней на квартире у Марии Васильевны Трубниковой, дочери декабриста Ивашева, состоялось женское собрание с присутствием профессоров университета, Медико-хирургической академии. Говорили об организации Высших женских курсов, о программе, о средствах. Если даже правительство разрешит открыть курсы, где взять деньги на оплату лекций?

Первым взял слово профессор химии Дмитрий Иванович Менделеев. Он встал и низко поклонился женщинам.

— Я рад, что приглашен вами сюда. Я рад служить этому благородному делу. Мне кажется, никто из нас не пожалеет времени и сил и даже найдет возможность отдать их безвозмездно.

Затем говорили Сеченов, Бородин, Страннолюбский. При баллотировке все профессора единогласно написали: «Первый год даром».

Итак, о деньгах можно было не беспокоиться. Лишь бы разрешили открыть курсы.

Петицию и прошение послали министру просвещения. Все с нетерпением ждали ответа. Об этом говорили в гостях, на вечерах, в каждом доме. Разрешат или не разрешат?



«Бум-бум-бум!» — гудит басом большой колокол.

«Тили-бом, тили-бом!» — тонко подпевают ему малые колокола.

Это звонят к обедне. Старушки, нищие, разодетые дамы толпою входят в церковь. Священник в расшитой золотом ризе появляется на амвоне.

Посреди церкви, ближе к выходу, стоят Аня и Софа. Они усердно крестятся, а сами все украдкой поглядывают на дверь.

Вошел Ковалевский. Софа первая заметила его. Толкнула в бок Аню. Близоруко щурясь, Владимир Онуфриевич оглядывает церковь. Увидел сестер, стал к ним пробираться.

— Чтой-то ты, милай, на людей лезешь, — зашипела какая-то старуха.

— Окаянный пошел народ, — шепотом сказала другая.

— «...И ныне и присно и вовеки веков...» — басом загудел дьякон.

Все становятся на колени. Только Ковалевский остался один посреди церкви. На него все смотрят.

— Тьфу, чистый супостат!

Сестры оглядываются и не могут удержаться от смеха. Какая-то разодетая дама зло посмотрела на девушек.

Наконец Ковалевский спохватывается и тоже становится на колени. Он уже не пытается подойти к сестрам.

После службы они встречаются в садике возле церкви.

— Вот и выдали сразу себя, Владимир Онуфриевич!

— Безбожник! Вы даже молиться не умеете, — смеются Анюта и Софа.

— Признаться, не заметил, что все стали на колени, — с улыбкой оправдывается Ковалевский.

— А у нас плохо. Мама что-то стала подозревать. Больше не пускает нас одних в церковь. Только с горничной Дуняшей. Это мы договорились с ней на сегодня, она будет нас ждать возле дома.

— Ничего, не волнуйтесь. Я уже нашел общих знакомых, которые введут меня в ваш дом.

— Когда же вы придете? — спрашивает Софа. Ее ясные глаза прямо и серьезно смотрят на Ковалевского.

— Попытаюсь поскорее, — отвечает Владимир Онуфриевич.

Анюта и Софа идут домой довольные, веселые. Сулова молодец. Подказала им такую идею... Фиктивный брак. Оказывается, так делают многие девушки.

Выйти замуж только для того, чтобы обрести желанную свободу. Уйти от родителей, получить паспорт, разрешение от мужа учиться, а там можно разъехаться в разные стороны. Конечно, муж должен быть «своим», понимающим.

Их освободителем будет Владимир Ковалевский. Наверное, он сделает предложение Анюте, ведь родители скорее согласятся выдать старшую дочь. А потом Софа переедет жить к замужней сестре.

— Какой он смешной и милый, — говорит Софа.

Обе вспоминают неловкую фигуру Ковалевского в церкви и заливаются веселым смехом.

— Софка, давай по дороге забежим к Лизе Кушелевой, — предлагает Анюта. — Может быть, она уже приехала.

Лиза — подруга сестер Корвин-Круковских. Их имения расположены близко друг от друга. И здесь, в Петербурге, дома тоже близко, оба на Васильевском острове.

Лиза увидела их в окно угловой гостиной и постучала.

— Что же ты так долго не появлялась? — спрашивает Анюта, входя в комнату.

— Мама болела.

— Ой, знаешь, сколько новостей! А что ты читаешь?

— «Неделю». Здесь хорошая статья Конради.

— Мы не читали. Хочешь, я дам тебе одну книжку, такую книжку... Только после Жанны. Эту книгу я привезла из Женевы.

— Ну что там, в Женеве?

— Я все тебе расскажу, — говорит Анюта. — Но сейчас нам некогда. Приходи к нам.

— И еще мы тебе расскажем что-то очень важное — как добыть свободу, — наклонившись к Лизе, вполголоса говорит Софа.

Попрощавшись, сестры уходят. А Лиза идет в комнату к своему брату Саше.

Саша — студент, будущий инженер. Он много и серьезно занимается науками. Но это не мешает ему быть веселым и общительным. Дома у Саши часто собираются товарищи.

К Лизе брат относится покровительственно. Он любит над ней подтрунивать.

— Эх ты, борец за равноправие. У тебя одни оборочки и фестончики в голове. И так и этак повернется. Чтоб ты делала, если б вдруг исчезли все зеркала?

Но с прошлого года Саша стал замечать, что Лиза очень повзрослела. Много читает. И все приходит выяснять «вопросы из жизни», как говорит она сама.

Вот и сейчас.

— Саша, — спросила Лиза, — почему мужики так плохо живут?

— Что — без зеркал? — попробовал отшутиться Саша.

Лиза сердито взглянула на брата.

— Я тебя спрашиваю серьезно.

Саша пожал плечами.

— Ну, плохо живут. Так что ты придумала?

— Я не знаю — что, но надо что-то делать. Может быть, попросить царя, чтобы он всех собрал и поговорил?

Саша рассмеялся.

— Нет, так не выйдет, оборочка. Сытый голодного не разумеет.

— Так что же делать?

Саша внимательно посмотрел на сестру.

— Это все не вдруг делается, Лизок. Просвещать народ надо. Собирать вместе. Люди думают над этим. И жизни своей не жалеют. Есть такие люди. Может быть, когда-нибудь я тебя познакомлю кое с кем из них. Вот когда мы сидели в Петропавловской крепости, там же был поэт Михайлов...

— Кто сидел в Петропавловской крепости? — спрашивает Лиза.

Саша вдруг спохватывается. Ведь ни мать, ни сестра не знают, что он был арестован.

— Ты думаешь — только мужики плохо живут? А мастеровые? — переводит он разговор. — Взять хотя бы ткачей здесь у нас, в Петербурге, да и везде, в Иванове, в Нарве на Кренгольмской мануфактуре... Там и женщины работают, и дети.

— А посмотреть самой можно, побывать у ткачей? — спросила Лиза.

— Хочешь убедиться? — Саша задумался. — Может быть, устрою. У нас учится один, сын хозяина ткацкой фабрики. Да как бедствует народ, можно увидеть не только на фабрике. Мужики толпами со всех сторон, из деревень идут в Питер, в лаптях, в рваных зипунах. Идут от голода, от холода, от поваральных болезней. Тысячи верст идут. Здесь надеются найти заработок, хоть какой. А их тут собирается больше, чем нужно. И работы нет. Так и толпятся целыми днями и месяцами на Сенном, там и живут.

— Где толпятся?

— На Сенном рынке, а бабы на Никольском. Там можно увидеть тяжелые сцены.

Лиза умолкает. Ей никогда не приходилось бывать ни на Сенном рынке, ни на Никольском. Закупкой продуктов ведают дворецкий, повар, кухарка. Если нужно набрать материю на платье, или ленты, или кружева, мать с вечера велит кучеру Илье приготовить карету, и они едут в Гостиный двор.

— Мы можем с тобой побывать там, — говорит Саша. — Одной-то тебе неудобно. А вместе — встанем пораньше и поедем.

ГЛАВА XIII

На одном из семейных вечеров генералу Корвин-Круковскому был представлен Ковалевский. Это получилось тем более естественно, что Владимир Онуфриевич был земляком Круковских, тоже из Витебской губернии.

Генерал церемонно подвел его к жене, потом к дочерям. Сестры едва не расхохотались, когда, галантно наклонившись к ним, Ковалевский произнес:

— Рад познакомиться. Очень сожалею, что до сих пор не имел счастья...

— Так вы, оказывается, еще и врать умеете! — тихонько говорит Софа.

Владимир смотрит в ее милое, лукавое лицо, в лучистые глаза, которые бывают то золотисто-ясными, то с какими-то зелеными огоньками, и думает о том, что действительно он знает ее давно-давно. И не было, и не могло быть такого времени, когда он не был с ней знаком.

— Первый вальс вы танцуете со мной, — говорит он тоже негромко.

С этого вечера Ковалевский стал бывать у Корвин-Круковских часто, чуть ли не ежедневно. Он привозил девушкам книги, читал с Анютой ее повести, изучал теоремы с Софой. Родители терялись в догадках. Для чего он ездит? Уж не имеет ли виды на свадьбу? Но с которой?

Во всяком случае, генерал был того мнения, что этот молодой человек не подходит ни для одной. Для своих дочерей он желал более богатых и родовитых женихов.

А Ковалевский, кажется, никогда не чувствовал себя таким счастливым.

«Я познакомился нынешней зимой с двумя девушками. Это сильно работающие и замечательно развитые существа, — писал он брату, который в это время был за границей. — ...Вообще это такое счастье свалилось на меня, что трудно себе и представить»;

Как-то Ковалевский зашел к Корвин-Круковским днем. Генерала и генеральши не было дома. Тетушки сидели где-то по своим комнатам. Анюте нездоровилось — она не выходила. В гостиной была одна Софа.

— А вы все решаете задачи? — сказал Ковалевский, увидев на столе открытую тетрадку. — Ой, сколько их тут. И все по ответу?

Владимир взял тетрадь и стал перелистывать.

— Вы просто откуда-то списали решение.

Софа вспыхнула.

— Ах, так! Отдайте тетрадь.

Но Ковалевский вдруг увидел что-то интересное.

Пришлось ли раз вам безучастно,
Бесцельно среди толпы гулять
И вдруг какой-то песни страстной
Случайно звуки услышать?

На вас нежданною волною
Пахнула память прежних лет,
И что-то милое, родное
В душе откликнулось в ответ.

Он не успел дочитать. Софа схватила тетрадь. Владимир задержал ее руку в своей.

— Нет, не получите. Это что такое! Среди задач — стихи.

— Эти стихи не для вас. Все равно не поймете, — сердито сказала Софа.

Как она ему нравилась вот такая, нахохлившаяся! Мысленно он назвал ее «воробышком». Этот воробышек может быть энергичен и смел, и застенчив, как дитя. В его маленьком сердечке горит неугасимая любовь к науке, жажда знаний, так созвучных стремлениям Владимира. Этот воробышек далеко полетит, если развязать ему крылья!

— Ну нате, возьмите, моя принцесса. Кладезь мудрости и поэзии. Преподношу вам.

Он встал на одно колено и церемонно протянул тетрадку.

— То-то! Теперь вы не забыли встать на колени? — засмеялась Софья.

— Перед вами всегда готов. Слуги, где мои слуги! Несите дары в этот дом. Сегодня же буду просить у отца руки его младшей дочери.

— Моей? — вдруг растерялась Софья. — Вы шутите. Анюта ведь старше...

Ковалевский встал с колен. Он смотрел на девушку. Там, в ее глазах, широко распахнутых, смотревших удивленно, он хотел прочесть какой-то ответ...

— Нет, я серьезно, Софа, — сказал он мягко. — Вы не верите в сродство душ?

Когда Ковалевский ушел, Софа побежала к Анюте.

— Анюта, он сказал, что будет просить моей руки.

— Твоей?

— Да. Почему так?

— Значит, ты больше понравилась.

— Но при чем тут понравилась? Ведь брак фиктивный!

— Ты лучше думай, что делать.

— Он хороший, добрый. Я рада. Он мне как брат. И ты будешь с нами... — задумчиво говорит Софа.

Она прижимается к плечу старшей сестры.

— Анюта, а что будет... А если я на самом деле кого-нибудь полюблю?

— Что ж... Тогда не знаю. Нужен будет развод. Но этого очень трудно добиться. Почти невозможно...

Они замолчали.

— Мне так кажется, словно я, закрыв глаза, бросаюсь с высокой горы, — сказала Софа.

— Эх, ты, сурок... Сурок, ты жив? — громко, как в детстве, спрашивает Аня и приподнимает лицо сестры за подбородок.

— Жив-жив, — отвечает Софа и начинает улыбаться. — Жив-жив! — кричит она и, вскочив, кружится по комнате. — О чем я думаю! Это счастье, огромное счастье! Хочу быть свободной! Хочу учиться!

Было восемь часов утра. Лиза тихонько встала, оделась и прошмыгнула в кухню. Кухарка растапливала плиту.

— Вы куда это, барышня, ни свет ни заря? — спросила она Лизу.

Лиза приложила палец к губам.

— Никому не говори. Я скоро вернусь.

Она вышла на улицу. Стояло обычное осеннее утро. Темные тучи низко ползли по небу, накрапывал дождь. Кое-где дворники в картузах и фартуках сверх теплых фуфаек дOMETали тротуары. Открывались мелочные лавки, питейные заведения. За углом мужики в рваных полушубках копали какой-то ров. Сидя в пролетках, дремали извозчики.

— Подвезу, барышня! — сказал один из них, причмокнув на лошадь и лихо подкатывая к Лизе.

— Не надо, я пешком.

С Невы дул резкий, холодный ветер. Лиза плотнее закуталась в мантилью, отороченную соболем. Туже завязала капор.

По реке туда и обратно плыли суда с лесом, камнями, барки с сеном, песком. У спусков яличники предлагали перевезти на ту сторону.

Лиза пошла через мост и дальше — к Никольскому рынку. Она шла уверенно — еще раньше она выпросила у кухарки дорогу. Сразу же после разговора с братом Лиза решила побывать там — собственными глазами увидеть, где толпятся бабы, много ли их, кто их нанимает на работу, за сколько. Саше Лиза ничего не сказала — она хотела убедиться во всем одна.

Прохожих было немного — мастеровые уже прошли, чиновники еще допивали чай дома. Ближе к рынку стали попадаться кухарки с корзинами. Старушки в темных суконных пальто, в салопах, с кошелками из рогожки. Некоторые с удивлением оглядывали Лизу: куда это одна спешит в такую рань молодая девушка да, видно, из богатого семейства. Из проезжей пролетки выглянул подвыпивший кутила, верно возвращавшийся с бала, нагло взглянул на Лизу и ухмыльнулся.

Мимо по рельсам проехала конка. Впереди стоял кондуктор в форме со светлыми пуговицами, в фуражке с каким-то значком и с большим кожаным кошелом на боку. Наверху, во всю длину конки, прикреплена доска с рекламой. «Для смягчения кожи рук «Крем Симон» Париж. I. Simon, Paris. Требуйте нашу настоящую марку», — прочитала Лиза.

На Никольском рынке возле лавок купцы зазывают покупателей. На дверях висят где веревки, где дуги с колокольцами.

На столах разложена разная снедь, стоят огромные кувшины и чайники.

— А вот пироги горячие с рыбой, с визигой! — кричит женщина.

— Шанежки, шанежки, крендельки с маком! — старается перекричать ее другая.

— Печенки, рубцы, печенки, рубцы!

— Спички, спички, кому спички!

— Клюквельный квасок! Подходи отведать!

В углу, возле канала толпятся женщины в лаптях, в зипунах, с узелками в руках. Их много, наверное, больше ста. Некоторые между собой разговаривают, другие стоят молча.

Лиза подошла к толпе. Женщины сразу бросились к ней, окружили.

— Вам кого надоть — кухарку али горничную?

— Возьмите меня, я все умею...

— Не слушайте ее, она пьяница.

— Мне никого не надо, — сказала Лиза. — Я так пришла, посмотреть.



— Тю-ю! — разочарованно протянула молодая остроносая женщина в клетчатом платке. — Чего нас смотреть? Нешто тут ярманка?

— Ты, добрая барышня, хучь бы не с пустыми руками пришла глядеть, — сказала другая.

— Подарила бы мне на платье. Вишь, как я обносилась. А у тебя мантилька-то, глянь, какая, — со смешком подхватила третья, дотрагиваясь до Лизиной мантильки.

— Возьми мою девчонку в услужение. Изголодались мы. Погорельцы... — запричитала пожилая морщинистая женщина, проталкиваясь к Лизе. Она держала за руку девочку лет семи, грязную, оборванную.

— Нам не надо, — сказала опять Лиза. — У нас есть девочка на кухне.

— Да возьми хотя даром, за харчи. Истомились мы, сколь верст шли...

Девочка вдруг исподлобья взглянула на Лизу и тоненько протянула:

— Есть хочу.

У Лизы больно защемило в груди.

— Нате вот для девочки, — сказала Лиза, снимая с пальца перстенок с голубым камешком, который она очень любила.

— Ахти, барышня, да ведь тебе небось за кольцо-то попадет, — сказала мать девочки.

— Возьмите, возьмите!

— Благодарю барышню, в ножки падай! — толкнула мать девочку.

— Вот тебе счастье!

— В деревне с голоду пухнем. И здесь сколь времени ни работы, ни харчей, под забором ночуем, — загалдели женщины.

Лиза стояла бледная, прижавшись к решетке канала. Она не знала, что сказать всем этим голодным, оборванным женщинам. Чтобы шли просить? Но кого

же? Лиза вспомнила, как недавно у них в гостях один генерал сказал: «Для черни нужна дубина и плетка. И ничего больше. Иначе они выйдут из повиновения». Прав Саша — сытый голодного не разумеет. Тогда что же делать?

— А раз так плохо, вам бы собраться всем вместе и потребовать, — горячо сказала Лиза.

— Ишь какая вострая, — откликнулась женщина в клетчатом платке. — Это с кого же требовать? Был у нас в деревне один такой Пашка. Он требовал. Бубновый туз на спину.

В это время к толпе женщин подъехала пролетка. Из нее выбралась дородная барыня с пальцами, унизанными кольцами. Женщины бросились к ней. Возле Лизы осталась только молоденькая девушка. Она была хорошо одета, в недорогом, но приличном пальто, в высоких суконных ботинках. Но все это пообносилось, выглядело несвежим.

— Не знаете ли вы место гувернантки? — спросила она Лизу. — Я приехала из провинции. Ушла из отцовского дома. Но не могу здесь найти места.

— Я слышала, сейчас устраивают коммуны. Там работают швеи, переплетчицы, переводчицы. Мне говорил брат. Как у Чернышевского. Вы читали «Что делать?»

Девушка оживилась. Щеки ее порозовели от волнения.

— Кто же не читал эту книгу? Я только поэтому и ушла из дома, чтобы быть самостоятельной. Как Вера Павловна.

— Пойдемте сейчас ко мне. Мы спросим у брата про коммуну. Поживете пока у нас. А потом устройтесь.

Лиза со своей новой знакомой, весело болтая, направились к остановке конки.

Глаза Сергея были так близко. Нежно поддерживая Лизу за талию, он вел ее в вальсе. Волны музыки Штрауса, легкие и стремительные, поднимают Лизу, влекут и уносят куда-то далеко, в сказочную страну.

Всюду, впереди, рядом, кружатся еще пары, девушки в голубых, белых, палевых платьях. Мелькают высокие прически, банты, цветы. Вспыхнет колье на лебединой шее, сережки в ушах. Позванивают шпоры, развеваются черные фраки, золотом блеснет эполет.

— Лиза, я вас люблю! На всю жизнь... — шепчут губы Сергея.

Лиза слушает и не слушает, верит и не верит. Отвернувшись вполоборота, она летит в вихре танца, едва касаясь атласными туфельками пола. Светлый газовый шарф окутывает ее как облаком.

— Нет девушки прекрасней вас... — слышит она снова.

Ей хочется отшутиться, ответить что-то веселое, озорное, но она молчит. Ее волнуют эти слова, и эта музыка, и этот яркий, праздничный свет.

Но вот танец окончен. Сергей почтительно отводит Лизу на место, рядом с креслом, где сидит Наталья Егоровна.

— Ах, вот ты где скрываешься! — раздается веселый голос.

— Анюта! Я и не знала, что ты тоже здесь! — обрадованно говорит Лиза.

— А я тебя видела. Когда ты танцевала. У тебя было такое лицо... — повернувшись к Лизе, вполголоса говорит Анюта.

— Какое? — чуть смущенно спрашивает Лиза.

— Ну как бы тебе сказать... Неземное... Ты где-то витала... — И Анюта выразительно повертела рукой.

— Одним словом, увлечение... — лукаво засмеялась она. — Смотри у меня! — и погрозила пальцем. По праву старшей Анюта относилась к Лизе покровительственно.

— Не говори глупостей! — вспыхнула Лиза. — Просто Сергей хорошо танцует. А где Софа? — переменяла она разговор.

— Сидит со своими формулами. И Жанна у нас — тоже с книгами. Их никуда не вытащишь. А по-моему, танцы не помеха. Если ими не очень увлекаться, — она опять насмешливо взглянула на Лизу.

— Впрочем, они тебе, кажется, не мешают даже производить серьезные социологические исследования, например на Никольском рынке. Но что скажет княгиня Марья Алексевна! — Анюта сделала строгие глаза.

В кругу друзей уже знали о «геройском» поступке Лизы. Однако что было бы, если б об этом узнали в свете! Тогда не избежать скандала. Какой позор! Девушка из порядочного дома рано утром одна и где — на рынке! Хорошо, что друзья умели молчать.

На хорах снова грянула музыка.

— Дамы и господа, танцуем кадрили! — объявил распорядитель бала. — Кавалеры, прошу приглашать дам!

К Анюте сейчас же подлетел высокий гвардеец, затянутый в мундир с аксельбантами, и низко склонился, прищелкнув каблуками.

Анюта не спеша встала, грациозно положила руку на плечо партнера и, обернувшись к Лизе, состроила рожицу.

— Быть можно умным человеком и думать о красе ногтей!

А Лиза опять танцует с Сергеем. Да, она счастлива, как никогда. Как он ей нравится, Сергей, веселый, остроумный, внимательный и нежный. Но об этом она не признается никому на свете, даже своей лучшей подруге.

Наверно, так приходит любовь.

ГЛАВА XIV

Только что встало солнце. Яркие лучи его растопили туман над Цюрихским озером, осветили вершины гор. Заблестели омытые утренней росой черепичные крыши домов с башенками на улицах Цюриха, зеленые кроны деревьев. Со звонницы кирхи медленно поплыли звуки колокольного перезвона.

Надя Сулова быстро вскакивает с кровати. Накинув халатик, она бежит к тазу с кувшином воды, еще с вечера приготовленным на табурете. Ух! Один миг Надя съезживается под струей холодной воды. Но сейчас же словно кипяток прольется по жилам. Надя растирается полотенцем, и чувство свежести и бодрости наполняет все ее существо. Теперь позавтракать — и в университет.

Вот уже три года Надя ежедневно проходит по одним и тем же улицам, мимо одних и тех же домов. Она почти всегда встречает одних и тех же людей. Ее уже знают в городе, и некоторые соседи с ней здороваются. Но все три года она видит перед собой скептические улыбки и часто за спиной слышит смешок.

«Должна признать, что я возбуждаю большое нерасположение к себе почти всего местного населения, но надо мною больше смеются, чем преследуют как вредное явление, а потому мне еще можно как-то существовать. Среди этих людей, ждущих с издевательскими улыбочками комического конца всей моей затеи, я ни с кем не знаколюсь, ищу друзей только в книгах...» — писала Надя в дневнике.

Но там, в университете, все же лед постепенно начал таять. Профессора с удивлением обнаруживали в этой русской студентке острый ум, упорство, трудолюбие и огромную любовь к той науке, которой они

все самозабвенно служили и которая для них была превыше всего. Спасти страдающего человека, упорно искать те пути, те лекарства, которые вырвали бы его из цепких когтей болезни. Не жалеть для этого ни труда, ни времени, ни даже своего здоровья — вот что отличало настоящего врача, служителя медицины. И все эти черты они видели в этой девушке, первой в мире студентке медицинского факультета.

— Она — истинный врачеватель, — говорил теперь о Сусловой ректор университета Оттон Фридолино Фритче.

— У нее сильные, умелые руки. Я сам мог бы довериться ее скальпелю, — вторил хирург Эдмунд Розе.

— А ее знания в анатомии глубоки и основательны. Она поразительно трудолюбива. Остается работать в прозекторской, когда даже юноши утомлены и уходят домой, — прибавлял декан Адам Фик.

И вот наступил последний год. Окончены теоретические занятия, практика в лабораториях и клиниках. Написана диссертация.

Зимой 1867 года на стене у входа в университет появилась афиша:

«Публичная защита диссертации на степень доктора медицины мадемуазель Надежды Сусловой имеет быть 14 декабря сего года».

...Актовый зал полон. Здесь собрался весь цвет Цюриха, ученые, журналисты, представители власти. Приехали коллеги из других городов, даже из соседних государств. Видны мундиры военных, фраки дипломатов. Здесь много женщин, молодых и старых. Но больше всего собралось студентов.

Уже заняты все ряды, принесены приставные стулья. Кое-кто примостился на подоконниках и даже просто стоят в проходах и у двери. Слышны негромкие разговоры, смех. Кто-то пришел сюда, как в цирк, на развлечение, посмотреть, как будет проваливаться эта

выскачка, которая хочет быть умнее всех. Другие страстно желают ей удачи.

— Как хотите, но я не верю в эту затею, даже если она защитит диссертацию. Женщина не способна к систематическим занятиям, к занятиям наукой. Это слишком тяжелый труд, — говорит полный лысый господин своему соседу.

— Конечно, женщина должна заниматься семьей. Это ее призвание.

— Но почему вы считаете, что мы больше ни на что не способны? Есть же женщины-артистки! — вмешивается в разговор миловидная блондинка с высокой модной прической.

— Артистки — другое дело. Согласитесь, мадам, притворство и лукавство всегда было свойственно женщине, — улыбается лысый господин.

— Ах вот вы как...

— О, оставим эту тему, дорогая, не будем портить настроения, — примирительно говорит мужчина, сидящий рядом с блондинкой, видно ее муж. — Ты лучше посмотри, вон уже за стол садятся ректор университета и декан медицинского факультета. Видимо, скоро начнется...

А за стеной, в небольшой аудитории, Надежда Сулова торопливо перелистывает диссертацию. Как будто все ясно и все она помнит. И все же она нервничает. Как она начнет? Как взглянет в этот переполненный зал? Не потеряет ли от волнения дар речи?

Диссертация написана на немецком языке, и изложить ее Надя должна по-немецки. И хотя она уже прилично знает этот язык, но как хорошо было бы рассказать все на родном русском.

Но вот в зале зазвонил колокольчик. Надя берет свою диссертацию и идет в зал. Как в тумане она видит

ряды кресел, лица. Она проходит вперед, поднимается по ступеням на кафедру.

Сотни глаз смотрят на нее, настороженные, внимательные, насмешливые. В зале царит тишина. Даже слышно, как тикают часы на стене, как где-то высоко у стрельчатых окон, радуясь солнечному дню, воркуют голуби.

Надя стоит на кафедре и ощущает эту напряженную тишину и биение своего сердца.

Она произносит первые слова, слышит свой голос и вдруг замечает, что он звучит спокойно и уверенно. Она смотрит в зал и чувствует, что эти устремленные на нее глаза, эта тишина и внимание, неожиданно для нее самой, придают ей силы. Невидимые нити протягиваются между нею и аудиторией. Теперь она не боится даже этих насмешливых глаз прямо перед собой и вот тех, с краю.

— Я им докажу! — говорит она сама себе. — Я заставлю в нас поверить!

Суслова подходит к заранее развешанным на стене рисункам. С указкой в руке она разъясняет взаимодействие между центральной нервной системой и двигательными функциями организма. Потом показывает опыты на лягушках.

Своей работой Суслова утверждает существование рефлекторного воздействия центральной нервной системы на организм. Центральная нервная система управляет движением и торможением органов. Это еще одно доказательство теории о рефлексах русского ученого-физиолога Ивана Михайловича Сеченова.

Надя видит, как то в одном, то в другом ряду седовласые ученые вынимают листы бумаги, записывают. Ей задают вопросы. Некоторые из них каверзные. Но она отвечает спокойно и обстоятельно. Ведь все это продумано. Надя специально ездила к

Сеченову, чтобы под его руководством проделать все необходимые эксперименты.

Но вот больше нет вопросов. Выступили оппоненты. Защита закончена.

В зале раздаются аплодисменты. Они звучат со всех сторон.

— Bravo! Брависсимо! — скандируют студенты.

— Виват первой!

— Мы пойдём за вами! — слышатся возгласы женщин.



Зал встает, приветствуя Суслову.
Надя сходит вниз по ступенькам и садится в первом ряду.

На кафедре поднимается ее руководитель, профессор Эдмунд Розе.

— Я рад выразить свое глубокое удовлетворение защитой мадемуазель Сусловой. Ее диссертация открыла новую страницу в истории медицины, — говорит он.

— Мне было приятно и лестно, как старшему товарищу, помогать Надежде Сусловой, тем более, что не только эта работа, но и весь путь в нашем университете показал ее трудолюбие, упорство и самостоятельность. И, если сказать правду, никто из нас вначале не верил в счастливое окончание первого эксперимента женской эмансипации. Но мадемуазель Сулова доказала обратное. Шаг за шагом она развеивала наши сомнения. Своей преданностью нашему общему делу она завоевала наши сердца.

Почему-то исторически сложилось такое отношение к женщине, что пока речь идет о служительских обязанностях, приготовлении кушаний или мытье белья — все хорошо. Но как только заговорят о более возвышенном труде — так прекрасный пол встречает самый грубый отпор. Приводят даже в доказательство малый объем головы классических статуй богини Венеры. Я же глубоко убежден, что скоро во всех странах настанет время, когда женщинам будет предоставлено право трудиться равно с мужчинами.

Что касается врачебной деятельности, то она как нельзя больше подходит женщине, ибо в самой натуре женщины заложены сострадание, сердечность, столь необходимые для лечения страждущего человека. А ум у женщины, вопреки сложившемуся мнению, ничуть не ниже, а иногда острее, чем у мужчины. И это блестяще доказала глубоко уважаемая нами мадемуазель Надежда Сулова, — закончил Розе, сделав в сторону Сусловой поклон.

Снова в зале загремели аплодисменты. Женщины повскакали с мест. Теперь кричали:

— Виват профессору Розе!

— Ваши слова вещи!

Когда зал немного успокоился, профессор Розе, стоя на кафедре, взял из папки плотный лист бумаги с золотым обрезом.

— «Квод бонум фаустум феликс фортунатум квэ сит»... — читает он докторский диплом.

И эти слова, написанные по-латыни, звучат под высокими сводами зала торжественно, как заклинание. Их не все понимают из сидящих здесь, но медики их знают хорошо.

«Да будет счастлив во всем добром, благоприятном и приносящем счастье... Я, Эдмунд Розе, ординарный профессор хирургии, от имени и по уполномочию Цюрихского медицинского факультета присуждаю...»

Профессор Розе сходит с кафедры, вручает диплом Сусловой и пожимает ей руку.

Но церемония еще не окончена. На кафедру поднимается другой профессор, декан факультета, и читает особую присягу, клятву, которую должен дать каждый молодой врач:

«Принимая с глубокой благодарностью даруемые мне наукой права врача и постигая важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачить чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать по лучшему моему разумению прибегающим к моему пособию страждущим; свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми силами ее процветанию, сообщая ученому миру все, что открою... Обещаю быть справедливым к своим товарищам-врачам и не

оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду и без лицепрятия...»

На кафедре снова Эдмунд Розе.

— Если вы намерены добросовестно исполнять все выслушанное вами, то удостоверьте нас в этом явственным «да», — обращается он к Сусловой.

— Да! — спокойно и уверенно говорит Сулова.

Теперь уже все.

То, к чему стремилась она все эти годы, из-за чего испытывала много горьких минут, наконец достигнуто.

Но только теперь начнется настоящая большая работа. Лечить людей, облегчать их страдания, заставить отступать болезни и самую смерть! Вот ее призвание и жизненная задача.

Теперь она поедет на родину. Несмотря на то, что ей уже предлагали оставаться здесь, в Швейцарии, в Цюрихе, она не хочет. Скорей домой, в родную Россию!

Но как-то примут ее там, разрешат ли работать?

ГЛАВА XV

15 сентября 1868 года в Палибине играли свадьбу. Генерал, конечно, не вполне был доволен женихом. Но Софа твердо заявила: она любит Владимира и никогда никого другого не полюбит. И если родители хотят ее счастья, пусть дадут согласие.

Свадьба была обставлена богато. Приглашено много гостей. Для молодых заново отделали половину дома.

Но они не захотели остаться. После венчания и званого обеда Софа и Владимир собрались уезжать. Их убеждали. Мать, отец, родственники. Одна Анюта молчала.

Перед самым отъездом Софа, крепко обнимая сестру, шепнула:

— Мне хорошо. Я рада. Только горюю, что ты остаешься. Но я верю — это ненадолго. Скоро и ты будешь с нами. Мы все устроим.

Они уехали. А 17 сентября Софа уже писала Анюте:

«...Сегодня приехали мы в Петербург в 12 часов; мне нечего говорить тебе, как счастлива я была въезжать туда; это совершенно новое чувство въезжать в Петербург свободно, не в гости, а домой, для начала хорошей труженической жизни, о которой мы мечтали все эти годы; это чувство ты очень легко поймешь, и я сознаю, что в первую минуту оно совершенно охватило меня.

...Все это так ново, так соблазнительно хорошо для меня, что я могу только удерживать себя, вспоминая о тебе и о нашем последнем прощанье...».

Софья счастлива начать новую трудовую жизнь. Она надеется, что правительство даст положительный ответ на петицию, разрешит женщинам учиться. На это же

надеются Философова, Трубникова, Стасова и еще четыреста женщин, подписавших петицию.

Наконец руководители женского движения добились приема у министра просвещения.

Граф Дмитрий Андреевич Толстой был в хорошем настроении и говорил с ними доверительно и весело. Впрочем, он умел скрывать свои мысли. Это был тот самый Толстой, которого Александр II поставил министром просвещения после покушения Каракозова для искоренения «стремлений и умствований». Толстой ревностно старался в гимназиях и высших учебных заведениях уничтожить все свободололюбивое и мыслящее. Был усилен полицейский надзор за студентами. Запрещены не только публичные собрания и сходки, но даже любительские спектакли, концерты. Дома, в кухмистерских, в садах — всюду процветала слежка, подслушивания, доносы.

— Ну что вы затеяли? — сказал Толстой. — Ха-ха-ха! И вы серьезно думаете, что принесете пользу отечеству! Насмешили! — Министр просвещения, приземистый, полный, вынул платок, вытер лицо и лысину. — Да вы знаете, что вы наделаете? Женщина создана для семьи. Уют — разные там этикие занавесочки, кружевца, — он повертел в воздухе пальцами. — Муж чтоб был доволен. Детей растить. Так ведь и церковь велит. Поэтому, при всем моем уважении к вам... — Министр посмотрел на сидящих перед ним троих женщин. Больше всего он обращался к Философовой, все-таки как-никак жена военного прокурора — и чего ей-то здесь, в самом деле, надобно! — При всем моем уважении — ничего не могу поделать.

— Господин министр, нашу петицию подписали четыреста женщин. Они жаждут учиться, — сказала Надежда Васильевна Стасова.

— Они бараны, мадам, попросту бараны. Они сами не знают, что им нужно. Вы запевалы, и вам надо подумать

над вашей ролью. А им все равно куда идти — новость, рот им и нравится! И мы не имеем в истории примеров...

— А Сулова, господин министр? — воскликнули все трое женщин.

— Сулова, Сулова... Помешались все на Суловой. Еще неизвестно, чем кончится вся эта афера... Какой из Суловой выйдет врач, да и не доверим мы ей врачебную практику. Жаль, что вовремя не отозвали ее из Цюриха, чтобы не смущала умы, — раздраженно сказал Толстой. Глаза его зло блеснули. — Одним словом, отказать и отказать. Наконец, такова воля его императорского величества. — Министр встал, давая этим понять, что аудиенция окончена.

Итак, несмотря на горячие просьбы женщин, несмотря на сочувствие ученых, высшие женские курсы не разрешены. Женщинам в России по-прежнему запрещено учиться. Они не могут поступить ни в одно высшее учебное заведение страны.

— Полно, Софа, расстраиваться, — говорит Владимир Онуфриевич. — Что-нибудь придумаем.

Он удивляется своему воробышку. Он никогда не видел ничего подобного, такого огромного трудолюбия и целеустремленности. Софа встает в семь утра и может многие часы сидеть за письменным столом, напряженно занимаясь. Тогда для нее не существует ничего.

А вечером, закончив свою работу, она жизнерадостна и весела. С удовольствием идет в театр, на прогулки, любит читать, бывать на выставках.

Но Владимир Онуфриевич не замечает в ней ни тени такого обычного для женщин кокетства. Она даже не любит ходить по магазинам, обновлять свои наряды. А Владимиру Онуфриевичу хочется, чтобы она выглядела лучше всех.

— Софа, отгадай, что я тебе купил, — говорит Владимир Онуфриевич, пряча за спиной сверток.

— Не знаю.

— А посмотри сюда. Это к тебе очень пойдет.

Он развернул сверток и набросил на плечи Софьи материю.

— Ой, какая прелесть! — восхищенно говорит Софа.

— Еще бы! Во всем Петербурге лучше материи нет.

Она подходит к зеркалу и поворачивается и так, и этак. Глаза у нее вспыхивают от удовольствия, губы улыбаются. Вдруг она хмурится.

— А деньги? Где ты взял деньги?

Владимир Онуфриевич ни за что не хочет брать деньги, которые даны Софе как приданое. «Мало ли что, пусть это будет ей на черный день. А жить будем на мои, издательские!» — говорит он. Но так как этих денег совсем немного, жить приходится скромно, очень скромно.

— Так на что же ты купил материю? — спрашивает снова Софья.

— Фи, моя принцесса, какая проза жизни. Принцесса не должна думать об этом. Она должна красиво одеваться. Лучше всех.

Глаза Софьи подозрительно скользнули по фигуре Ковалевского.

— Володя, а где твои часы?

— Часы? — он шарит рукой по тому месту, где должна быть цепочка. — Ну, конечно, я забыл их...

— Ты не выкупил еще свое пальто и уже заложил часы?

— Вот посмотри, я покажу тебе, какая к этому платью пойдет прическа... — мягко говорит Владимир Онуфриевич и поворачивает Софью снова к зеркалу.

Вечером они идут в гости к Сеченовым, с которыми близко знаком Ковалевский. За столом решали, что делать Софье.

— А походите на мои лекции, Софья Васильевна, — сказал Сеченов. — Народу бывает много, авось не заметят. Потом и еще что-нибудь придумаем.

— Просто надо переодеться в мужской костюм, тогда наверняка не заметят, — сказал кто-то из гостей.

— Что ж, Надежда Дурова десять лет носила костюм кавалериста и сражалась против врагов русских. А Софья Васильевна будет воевать против врагов женского равноправия, — подхватил другой.

— Нет, мы попробуем сперва так, — сказал Ковалевский.

Рано утром, задолго до начала занятий они пришли к Медицинской академии — Софья и трое мужчин: Владимир Онуфриевич, знакомый врач Петр Иванович Боков и дядя Петр Васильевич, который как раз в это время был в Петербурге. Крадучись, с черного хода пробрались внутрь здания. Идут по коридорам. Софья волнуется. Недалеко от аудитории столкнулись с каким-то служащим в форменном костюме.

Мужчины постарались заслонить Софью. Старик посмотрел — ничего не сказал, то ли заметил, то ли нет.

В аудитории скамьи амфитеатром. Они забрались на самый верх — отсюда, правда, видно хуже, но зато и сами не бросались в глаза.

Зал постепенно наполнялся. Студенты сразу заметили Софью. Оборачиваются, улыбаются, подбадривают взглядами. А один вполголоса сказал:

— Вива, мадемуазель! Приветствуем вашу храбрость!

Но вот появился Сеченов. Зал затих.

Полтора месяца ходила Софья на лекции Ивана Михайловича Сеченова. И каждый раз она боялась — вот прогонят.

— Когда-нибудь настанет время. Может быть, оно и не за горами, — задумчиво говорит Ковалевский Софье.

Они шли по набережной Невы. Свет уличных фонарей дробился в темных водах реки. Где-то невдалеке слышался плеск — это проплыла лодка с запоздалым пассажиром.

«Слу-шай!» — пронеслось и замерло вдали.

— Как я люблю наш город, — сказала Софья. — Эти прямые как стрелы улицы, кружевные решетки, набережные, мосты.

— Да, но зачем Петропавловская крепость?

Они оперлись о парапет. Внизу набегали на берег мелкие волны. И у самой воды, на гранитной скамье, сидели двое, тесно прижавшись друг к другу.

— Володя, я вот слушаю лекции Ивана Михайловича. Они очень интересны и увлекательны. Но я хотела бы другое. Я хочу заниматься математикой. Говорят, это сухая наука. Неправда. Математика — как поэзия. В ней нужно уметь фантазировать... И еще говорят — математика не свойственна женщине. Я не знаю. Но я хочу попробовать. Может быть, я сумею что-то сделать...

— Раз любишь математику, должна идти этой дорогой. Хотя и будет трудно. Я верю, ты сумеешь.

Софа искоса посмотрела на Владимира — не смеется ли? Но он был очень серьезен.

— Возможно, и сумею, — сказала она задумчиво. — Сумела же Суслова.

Они опять пошли по набережной.

— Но где же, где можно заниматься математикой? Мне нужно слушать лекции, иметь книги... — с тоской сказала Софья.

— Поедем за границу, Софа. Может быть, там тебе удастся поступить в университет.

— И ты со мной поедешь?

— Конечно. Я помогу.

Она порывисто обернулась к нему, протянула руки.

— Как я благодарна тебе, Володя. За все, за все... Ты мой самый лучший друг и брат...

Он взял ее руки в свои, притянул к себе. Вот, вот... один миг... Он так хотел ее поцеловать. Но удержался. Сказал:

— Моя принцесса, я тоже тебе благодарен. Еще немного — и я стану математиком, а также магом и волшебником.

...Вечер. Владимир проверяет гранки, Софа пишет письмо. Потом почитали вслух книгу. И расходятся по разным комнатам.

Софья моментально засыпает — она так устала.

Владимир то засыпает, то вновь просыпается. Он ворочается в постели, ему душно. Он думает о Софье, он видит ее во сне. Вот она сидит сосредоточенная, нахмуренная за письменным столом. И ее сияющие глаза, когда она примеряет материю. Вот она протягивает к нему руки: «Ты мой самый лучший...»

Тогда был такой миг. Может быть, нужно было...

— О, я больше не могу, — шепчет Владимир. — Я скажу ей все, все...

Он встает и крадучись, на цыпочках идет в коридор и останавливается у ее двери. Он прикидывает к замочной скважине, и ему кажется, что он слышит ее ровное дыхание.

Рука его тянется к дверной ручке. Он сейчас откроет...

— Как тебе не стыдно, — говорит он, сжимая пылающее лицо. — Мы заключили союз ради науки, чтобы ей учиться...

Он возвращается к себе, рывком распахивает окно. Холодный ноябрьский ветер врывается в комнату. Он треплет занавески, сбрасывает со стола листки. Владимир долго стоит у окна, вглядываясь в темноту...

Весной Ковалевские уехали в Гейдельберг. После долгих уговоров родители отпустили вместе с ними и Анюту.

ГЛАВА XVI

— Лиза, Лизонька... Вставай!

Лиза открывает глаза, поднимает голову с подушки.

В комнате тихо, темно. На стене негромко тикают часы. Лунный свет робко пробрался с краю окна и нарисовал на полу квадрат.

Кто ее звал? Никого нет.

И вдруг она вспомнила. Это вчера сказали:

— Вставайте, поднимайтесь!

Это они, эти слова звучат в ее сердце, это они зовут!

Вчера брат в первый раз привел ее на собрание тайного революционного кружка.

Там было всего девять человек. И среди них — две девушки.

Говорили о целях и задачах молодежи, о книге Чернышевского «Что делать?», читали прокламацию, написанную Дмитрием Ивановичем Писаревым.

«На стороне правительства стоят только негодяи... На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать»...

Правительству стала известна эта прокламация, и Дмитрий Иванович был посажен в Петропавловскую крепость. А совсем недавно все передовые люди оплакивали раннюю смерть Писарева.

— Гибнут прекрасные люди, — говорил высокий бледный юноша с курчавой светлой бородкой. — Умер Добролюбов, навсегда ушел от нас Писарев. В рудниках замучили поэта Михайлова. А где Николай Гаврилович, где Шелгунов и Серно-Соловьевич? Они в ссылке, на каторге. Можем ли мы спокойно жить, спокойно учиться? Нет! Бороться! Идти в народ и вместе с народом низвергнуть царский трон! Вот наша первая и главная задача! А учиться мы успеем потом, при

народной власти, вместе с народом. Вставайте же, поднимайтесь и поднимайте других!

— Это правильно! — сказала худенькая девушка. Лицо ее казалось совсем детским, если б не серьезный, строгий взгляд серых глаз. — Мы не будем больше жить так, как наши отцы и деды. Не будем и не должны. Чему нас учит Николай Гаврилович? Уважать труд и трудящегося человека. Вспомните слова из песенки, что напевает Вера Павловна: «Будем трудиться, — труд обогатит нас...»

В самом деле, все на свете создано трудом. И вот этот стол, за которым мы сидим, и это платье, которое я ношу. А мы считаем постыдным трудиться, мы привыкли бездельничать из поколения в поколение. На нас работает народ, и труд мы считаем уделом рабов.

Так давайте же хоть теперь исправлять ошибки истории. Труд — не позор, он приносит радость и счастье. Нам нужно всем трудиться, просвещать народ и поднимать его на борьбу! И в этом женщины будут рядом с мужчинами!

Лиза вскакивает с кровати. Она не может больше спать. Конечно, женщины должны быть во всем рядом с мужчинами. И в революционной борьбе!

Лиза зажигает свет и берет со стола томик стихов Плещеева, который вчера принес ей Саша.

Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святую искупленья
Уж в небесах завидел я.

Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать;
И спящих мы от сна разбудим
И поведем на битву рать.

Лиза видит опять крестьян своей деревни. Топоры и вилы в руках. И здесь же эти голодные женщины с Никольского рынка. А во главе рати она, Лиза. И рядом Сергей, ее Сергей.

Лиза теперь всегда думала о нем. Что бы ни делала — она мысленно советовалась с ним, разговаривала. То она мечтала, как после свадьбы Сергей выйдет в отставку и они уедут в деревню и там откроют школу, больницу. И непременно создадут тайный революционный кружок среди крестьян. То она думала о том, что они уедут за границу, посмотреть, как там люди живут.

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах, —

читала Лиза дальше.

Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит;
И верьте, голос благородный
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед и без возврата,
Что б рок вдали нам ни сулил.

Она закрыла книгу и положила ее под подушку. Потом погасила лампу.

Комнатой опять завладел лунный свет. Только теперь квадрат окна передвинулся влево.

Лиза улеглась поудобней, как всегда, положила под щеку ладошку. И сейчас же ей представилась река, и они плывут с Сергеем на лодке. Солнце светит вовсю, и волны такие изумрудно-голубые. Сергей поднимает весла, и хрустальные капельки падают в воду. А с берега им машет рукой та девочка с Никольского рынка. Только теперь она была радостной и веселой. И все показывала колечко с голубым камешком, надетое у нее на большой палец.

Потом Лиза увидела, как они едут с Сергеем в карете. Она в белом подвенечном платье. Сергей наклоняется к ней и говорит: «Я люблю тебя, Лиза! Ты самая прекрасная девушка на свете!»



В маленьком немецком городке Гейдельберге жизнь течет размеренно и тихо. Центром всего является старинный университет. Каждое утро студенты в беретах с разноцветными лентами через плечо переступали порог этого храма науки, похожего на средневековый замок. Гул голосов наполнял длинные узкие коридоры, аудитории с высокими стрельчатыми окнами и потолками в виде арок.

Во второй половине дня университет затихал. Кончался трудовой день на табачной и кожевенной фабриках. Закрывался базар. Улицы пустели. На окнах домов и лавок хозяева запирали ставни. В восемь часов городок уже спал.

И вдруг эта по-провинциальному сонная, тихая жизнь была взбудоражена неслыханным событием. В

городе появилась какая-то русская и просит принять ее в университет.

— Как вы сказали? — переспрашивает ректор. — Вы хотели бы учиться у нас в университете? Но это невозможно. Мы не принимаем женщин.

— Может быть, вы разрешите только прослушать курс математики и физики?

Ректор еще больше удивлен.

— Фрейлейн хочет себя посвятить математике? Невероятный случай! Эта наука совсем не женская. И я никогда не слышал, чтоб ею увлекался прекрасный пол. Простите, фрейлейн, нескромный вопрос. Вы замужем?

— Да.

— И муж разрешает вам учиться... даже заниматься математикой?

— Вот его разрешение.

Ректор берет из рук Софьи бумагу. Читает, перечитывает.

— Что ж! Я сам решить этот вопрос не могу. Попробуйте переговорить... Что скажут господа профессора...

Софья идет к одному профессору, к другому. Она везде видит удивление, нерешительность и, по существу, отказ.

А по городу шли разговоры.

— Вот так новость! — судачили женщины. — Она хочет учиться математике. Никогда женщине не преодолеть этих премудростей. И сын мой так говорит.

— Да кто будет заботиться о муже, воспитывать детей, если мы пойдём учиться?

— А у нее и нет мужа. Попомните мое слово. Это все подложные бумаги. Она попросту сбежала от родителей.

В кабачке возле базара весело. Здесь собираются студенты выпить традиционную кружку пива, закусить сосисками.

— Ганс, ты слышал? — говорит один. — Она хочет учиться на математическом факультете.

— Ха-ха-ха! Женщина — на математическом факультете! Что она там будет делать? Вычислять, сколько пива потребуется мужу на год?

Взрыв смеха. Немецкие студенты относятся к женской эмансипации совсем не так сочувственно, как русские. Сыновья богатых помещиков и торговцев, они, по примеру своих отцов, считают, что место женщины в кухне и в детской.

— Держу пари, это просто пройдоха. Хочет найти здесь богатого жениха.

— Но у нее есть муж. Он дал ей разрешение учиться.

Один из студентов протягивает газету.

— Смотрите, про нее напечатано в газете. Вопрос будет рассматриваться на особой комиссии.

— Ох, и проучил бы я ее! Чтоб знала, чем должна заниматься женщина, и не лезла бы в наши мужские дела.

Комиссия отказала Софье Ковалевской в приеме в университет. Но разрешила прослушать курс по математике и физике.

И вот среди пестрой толпы немецких буршей появилась девушка в скромном синем платье. Ни на кого не глядя, она идет в аудиторию, где должна быть лекция по математике.

Одни студенты молча провожают ее взглядами, другие отпускают шуточки, хихикают.

К ней подходит Ганс.

— О дорогая фрейлейн! Мы приветствуем ваше появление!

Он расшаркивается перед Софьей. Снимает берет, низко кланяется, касаясь беретом пола. Другую руку он прижимает к сердцу.

— Такое лицо и такая фигура...



Он почти загораживает путь Софье. Все смеются.
Софья подняла глаза. Прямо в упор посмотрела на шалопаю.

— Дайте пройти.

— О, с удовольствием. Я даже могу проводить... —
Он делает руку кренделем. — Но при одном условии.
Объясните, как такая хорошенькая женщина может любить такую скучную науку. Не лучше ли полюбить меня?

Снова взрыв смеха.

— Уберите руку.

Софья резко толкнула студента.

Глаза блеснули гневом.

Сквозь строй насмешливых взглядов она проходит в аудиторию и идет наверх, на самую последнюю скамью. Здесь она садится одна, открывает тетрадку.

ГЛАВА XVII

Осень. С деревьев падают желтые и багряные листья. Липы стоят в золотом уборе. Ярким факелом горит рябина.

По опустевшим аллеям Петергофского парка бродит Жанна с книгой в руках.

Как ей тоскливо и грустно! Анюта и Софа уехали, с Лизой она видится редко. А то, к чему давно стремится все ее существо, так и остается недостижимым.

Снова и снова она говорила с отцом. Она просила отпустить ее за границу учиться. Раньше он обещал — хорошо, через три года. Жанна надеялась, ждала. Но вот прошли эти годы. А он опять отказал. Наверно, он думал, что за это время дочь выйдет замуж и оставит свои стремления. Нет, никогда!

Только самые близкие люди знают, о чем мечтает Жанна. Она хочет стать юристом. Защищать права обездоленных, бороться за свободу женщин.

Но женщина — юрист? Если кому-нибудь сказать — засмеются. Разве это возможно? В России не было ни одной женщины-юриста.

Уже теперь тайком Жанна достает книги по юридическим наукам. Она занимается древними языками — латынью и греческим. Эти языки необходимы для изучения права.

Но все это не то. Как она была бы счастлива, если бы можно было поступить на юридический факультет!

Жанна идет к своей любимой скамье возле фонтана «Нимфа». Среди деревьев бронзовая девушка склонилась над тихо плещущей водой.

— Я тебе завидую, — говорит Жанна. — Ты стоишь здесь величественная и бесстрастная. Тебя ничто не может уязвить. А я ведь живая... Пойми, я не могу

существовать, как трава, как эти деревья. Человек должен иметь какую-то цель, какой-то свет впереди...

Высоко в небе слышно курлыканье. Это летят журавли. Жанна встает и долго смотрит на удаляющуюся стаю...

А в Гейдельберге жизнь течет по-прежнему размеренно и тихо. Только сторож, что, постукивая колотушкой, ходит ночью по улицам, стал замечать — иногда до утра не гаснет свет в домике недалеко от университета. Говорят, там живут русские студенты.

— Это непорядок, — ворчит сторож. — Учиться надо днем, а ночью спать.

Старому служаке невдомек, как быстро летит время, когда хочешь много успеть! Это Софья Ковалевская засиживается допоздна над своими теоремами и задачами.

Вот уже два месяца, как она посещает университет. Вместе с ней теперь живет Юля, Юлия Лермонтова.

Юля — москвичка, двоюродная сестра Жанны Евреиновой и родственница великого поэта. Она тоже мечтала о том, чтобы учиться, писала об этом Жанне. Родители отпустили ее жить в Гейдельберге вместе с Софьей. Юлия хочет быть химиком. Она добилась разрешения у знаменитого химика Бунзена слушать его лекции и теперь тоже ходит в университет.

Анюте не нравится в Гейдельберге. Что делать в этом сонном городишке! Она уже успела осмотреть все его достопримечательности — развалины старинного замка, ратушу, картинную галерею. Попробовала заняться работой, писать новую повесть. Но пишется что-то вяло.

— Софа, — говорит она сестре, — хочу уехать в Париж. Там жизнь бьет ключом. Там будет о чем писать. И там люди не спят, а борются за свободу. Недаром этот город зовут «блуждающим огнем революции».

— Как же ты одна? — пугается Софья. — И потом, родители, они ведь отпустили тебя только в Гейдельберг, жить с нами.

— А мы не будем пока им сообщать. Все письма свои я буду посылать тебе, а ты уж отсюда им отправишь.

Владимир тоже думает уехать. Он хочет серьезно заняться естествознанием. В университете в Мюнхене особенно высоко поставлено преподавание естественных наук.

— Вчера вечером я получил ответ. Все устраивается, — говорит он Софье.

Они шли по направлению к университету. Из домиков с островерхими черепичными крышами, окруженных аккуратными палисадничками, выходили хозяйки с кошелками. Они здоровались, переговаривались. Улицы в городе настолько узкие, что можно подать друг другу руки, стоя на противоположных тротуарах.

— Ты хочешь уехать? — спросила Софья.

— Да. Теперь ведь все хорошо и ты во мне не нуждаешься? — Он искоса посмотрел на Софью. — С тобой будет Юля. Может быть, и Анюта не уедет.

Они подошли к университету. Софья хотела что-то ответить, но, видно, раздумала. Она идет в свою аудиторию. И вот уже забыла и разговор с Владимиром, и думы об Анюте. Здесь для нее существуют только формулы, выводы, гипотезы, увлекательнейшие логические умозаключения и фантазии полет...

Сегодня профессор после объяснения нового материала привел интересную задачу. Но, как ни странно, задача не получалась.

Профессор, задумавшись, стоит у доски с мелом в руке, смотрит написанное им самим решение.

— Таким образом, мы здесь получаем... получаем... — говорит он.

Потом он берет тряпку и стирает последнюю строчку. Немного отходит от доски вбок и снова задумывается. Стирает еще одну строчку. Пишет. Подходит к столу и смотрит в тетрадку.

— Попробуем другим способом, — говорит профессор.

Он стирает все с доски и снова пишет. Но что-то опять не выходит.

В аудитории начинаются шушукание, смешки. Для всех уже ясно, что профессор запутался в выкладках, никак не может получить нужный результат.

— Здесь какая-то ошибка, которую я сейчас не могу найти... — говорит профессор.

— Может быть, применить разложение в ряд, — советует кто-то несмело.

— Нет, эта функция не раскладывается, — говорит профессор.

Софья Ковалевская волнуется. Закусив губу, она что-то быстро, быстро пишет на бумажке. Смотрит на доску, на бумажку, снова на доску.

Вдруг она решительно поднимает руку.

Профессор, хотя и смотрит на аудиторию, но то ли не замечает поднятой руки Софьи, то ли не придает значения.

— Мы оставим эту задачу до следующего раза... — говорит он.

— Здесь поднимают руку, — замечает кто-то негромко.

Все разом оборачиваются к Софье.

— Ах, да... Вы что-то хотели, фрейлейн? — спрашивает профессор, рассеянно глядя на Софью.

Софья встает. Силой воли она сумела овладеть собой. Голос ее звучит звонко и почти спокойно. Только руки, комкающие бумажку, выдают волнение.

— Я могу показать ошибку, господин профессор, — говорит Софья.

— Вы? Пожалуйста, идите к доске.

Софья идет к доске и пишет правильное решение.

Все поражены. Невероятно! Подказала самому профессору. Как это могло случиться?! Вот так не женская наука — математика!

ГЛАВА XVIII

В Александринском театре давали «Горе от ума». Лиза упросила Наталью Егоровну отпустить ее на спектакль с Сашей. Узнав об этом, Алеша и Сергей тоже взяли билеты.

В антракте все четверо направились в фойе. Они весело болтали. Сергей рассказывал что-то смешное из жизни училища, представляя все в лицах. Он был хорошим рассказчиком, и Лиза втайне гордилась им.

Вдруг до них донесся ясный, громкий голос:

...Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение...

— Пойдемте скорей! — сказала Лиза. — Это в фойе кто-то читает!

В конце фойе, у окна, была толпа. Люди сгрудились вокруг худощавого светловолосого молодого человека.

...Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал! —

читал он с чувством.

— Это стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда», — негромко сказал Саша.

Они подошли ближе. Со всех сторон спешили люди.

А голос чтеца повышался, креп, в нем слышался гнев и возмущение.

...Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.

Видно было, как в театре забежали служители. Вдруг откуда-то появился полицейский. Он неторопливо шел к толпе. Впереди угодливо семенил капельдинер.

— Папашу прекратить чтение! — сказал полицейский, бесцеремонно расталкивая народ и подходя вплотную к молодому человеку.

— «Современник» закрыли, так дайте хоть здесь послушать! — сказал кто-то сердито.

— Правды боятся!

Словно не замечая полицейского, молодой человек продолжал читать:

...Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.

Полицейский повернулся к стоявшему сзади него капельдинеру и что-то тихо сказал. Тот побежал из фойе и почти сейчас же раздался звонок.

— Почему так рано дали звонок? Антракт еще не кончился! — возмущались в публике.

Молодой человек закончил стихотворение.

— Bravo! — закричали в толпе. Раздались аплодисменты.

— Пройдемте-с со мной! — сказал полицейский.

— По какому праву? У меня билет, и я пойду в зал, — возразил молодой человек.

— В самом деле, это насилие! — волновались вокруг.

— Вы изволили внушать недозволенные мысли. Пройдемте! — настойчиво сказал полицейский.

Молодой человек пошел за полицейским.

Лиза шла со спектакля расстроенная. Она думала о молодом человеке, которого забрали в полицию.

— Ему может грозить тюрьма, — сказала Лиза Сергею; Саша с Алешей шли впереди. — А за что? За то, что прочел правдивые стихи.

— Ну и поделом! — ответил Сергей. — Не надо призывать к бунту. В жизни прав тот, кто силен.

Лиза повернулась к Сергею.

— Как вы можете так говорить? Вы шутите, но как вы зло шутите!

— Нет, почему, я не шучу.

— Разве вы не видите, как живет народ? Разве вы не хотите отдать все силы на то, чтобы сделать народ счастливым? Идти к народу, просвещать его, организовывать! Может быть, даже выйти в отставку для этого дела... — горячо сказала Лиза.

Сергей засмеялся.

— Нет, меня на это не хватит. В конце концов, жизнь ведь всего лишь одна! — беспечно сказал он.

Лиза вдруг страшно побледнела. Ей показалось, что перед ней разверзлась бездна и ей надо во что бы то ни стало ее перешагнуть. Перешагнуть, чтобы уйти, убежать от Сергея.

Она сказала:

— Вы... вы... Вы эгоист. Вы думаете только о себе.

Она повернулась и побежала к брату.

— Елизавета Лукинична, Лиза! Куда же вы! Я что-то не так сказал?! Ради бога простите!

Но Лиза не слышала. Запыхавшись, она догнала брата.

— Саша, мне что-то нездоровится. Болит голова. Найми извозчика. Поедем домой.

Сердце у Натальи Егоровны ох как болит! Замечает она, что ее ненаглядная доченька Лизонька что-то стала тихая, погрустнела, побледнела. Не слышны ее песни и смех. Не к добру все это. И Сергей перестал ездить. Алеша Куропаткин приезжает один. Что произошло? Спросить у Алеши — неудобно, да, верно, и не знает он. Саша отмалчивается. У Лизы Наталья Егоровна не спрашивает.

Приходит к ней в комнату днем — Лиза склонилась над книгой или над вышиванием. Заходит вечером — Лиза спит. Только знает Наталья Егоровна — не спит она, притворяется. Утром встает с синими кругами под глазами.

Наталья Егоровна готовит сама на кухне любимые кушанья Лизы, но плохо ест дочка. Поковыряет вилкой — и отодвинет тарелку. Разве позвать доктора. Да ведь рассердится...

Разные нехорошие мысли лезут в голову Наталье Егоровне, тоже ночами не спит она.

А Лиза много времени проводит в огромной кушелевской библиотеке. Перебирает книги, читает. Но больше ходит по длинному залу или сядет на широкий кожаный диван, забьется в уголок.

Думы, думы... Они приходят сами, незванные и непрошенные, и сердце отзывается болью, и слезы вдруг

полюются из глаз.

Она все еще любит Сергея! Но она сумеет побороть эту любовь, вырвать с корнем!

Никогда она не соединит свою жизнь с тем, кто думает только о себе, кто затыкает уши, чтобы не слышать народный стон. Можно ли быть счастливой, если вокруг столько горя! Благополучие сытой жизни — разве это удел для мыслящего человека?!

Надо уезжать. И не только затем, чтобы забыть Сергея. Надо уезжать, чтобы вести борьбу. За границей собираются революционеры. За границей организовано Международное товарищество рабочих. Об этом ей говорила Анюта Корвин-Круковская, об этом же говорил брат. Туда надо ехать, чтобы уяснить себе цели, задачи и методы борьбы, и потом вернуться в Россию для революционной работы.

Но как же уехать? Мать не отпустит. И потом, у нее, незамужней, нет своего паспорта, нет своих денег. Это все она может получить, только выйдя замуж. Видно, нужно действовать так, как многие девушки, как Софа Корвин-Круковская.

— Вперед, вперед и без возврата, что б рок вдали нам ни сулил! — повторяет Лиза слова Плещеева.

— Саша, — говорит она. — Это стихотворение написано для меня.

— Для всех нас, — отвечает Саша. — Оно переложено на музыку. Это наша боевая песня.

Только Саша знает обо всем, только ему доверяет Лиза свои тайны. О, теперь он уже не подтрунивает над сестренкой, больше не называет ее «оборочкой». Он удивлен ее смелостью и сочувствует всем ее планам.

Нежно обняв ее за плечи и заглядывая в глаза, он спрашивает:

— Не боишься ехать одна, Лизок?

Нет, Лиза не боится. Она надеется там найти друзей.

— Да и то! — улыбается Саша. — Ведь не побоялась пойти одна на Никольский рынок. Молодец, ты у нас храбрая!

Вскоре в петербургском обществе только и было разговоров, что о Лизе Кушелевой. Как! Такая красавица, веселая, жизнерадостная восемнадцатилетняя девушка, богатая невеста, первая танцорка петербургских балов, о благосклонности которой мечтали многие молодые люди, вдруг вышла замуж за полковника Михаила Николаевича Томановского. Говорили, что он хороший человек, знавший Лизу с детства, но ведь вдвое старше ее и чахоточный. Вот уж поистине неизведаны пути женского сердца!

А Лиза после свадьбы немного пожила в Петербурге и потом уехала в Женеву.

В Женеву все больше прибывало русских политических эмигрантов. Сюда приезжали те, кому удавалось ускользнуть из-под бдительного ока охраны, кому посчастливилось бежать из тюрьмы и ссылки, участники разгромленного польского восстания, студенческих бунтов. Здесь происходили жаркие споры по политическим вопросам, создавались группировки, рождались планы революционной борьбы. Были сторонники Интернационала, были противники. Некоторые эмигранты шли за Бакуниным.

Бакунин был видный революционер, окруженный ореолом славы.

Сын тверского помещика, он занимался в артиллерийском училище, но вышел в отставку и уехал за границу. Здесь он участвовал в революционных кружках, во время восстания в Германии сражался на

баррикадах. Царское правительство предложило ему вернуться в Россию, но он отказался и был заочно приговорен к лишению дворянского звания и ссылке в Сибирь.

В конце концов его за границей арестовали и выдали России. Он просидел шесть лет в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Потом был сослан в Сибирь. Оттуда ему удалось бежать.

Бакунин никогда не отличался цельностью своего революционного мировоззрения. В шестидесятые годы он стал идеологом и вождем анархизма. Бакунин считал, что не должно быть никакого государства, никакой власти, даже после победы революции. Личность свободна делать, что ей вздумается.

Это были вредные идеи. Для победы революции и потом, для построения нового общества, нужна строгая дисциплина, твердое руководство. Анархизм мешал деятельности Интернационала, противопоставлял себя учению Маркса и его сторонников.

Вот и сейчас Николай Утин возвращается с собрания, где была схватка с Бакуниным. Выступали он и Беккер и еще несколько членов Интернационала. Но и сторонников Бакунина было много.

«Еще предстоят бои, и немалые, прежде чем удастся разъяснить людям всю вредность его идей», — думает Утин.

Он вспоминает студенческие годы, своих товарищей, Женю Михаэлиса. Если б они были здесь! Но тут из старых друзей только Александр Серно-Соловьевич, да и он безнадежно болен. И «Земля и воля» больше не существует. Когда удастся снова создать организацию? Ведь силы нужно собирать по крохам...

Николай входит в дом, садится обедать. Но есть не хочется.

— Наташа, — говорит он жене, — я что-то сегодня устал. Пойдем погуляем.

Наташа хотела заняться переводом — нужно закончить статью для журнала. Но она откладывает работу: когда Николай говорит таким тоном, это значит, что ему грустно или что-то не ладится и он хочет с ней поговорить там, в их рощице, на берегу ясноструйной Роны.

Они идут молча. Но когда вступают под сень деревьев, Николай говорит:

— Мне, может быть, все-таки тогда не нужно было уезжать из России. Просто скрыться из Петербурга и где-нибудь недалеко переждать. А потом можно было бы снова взяться за работу.

Наташа знает, что этот вопрос часто мучает мужа, и она говорит опять, как уже не один раз:

— Ты жалеешь о том, что уехал. Но если б ты не уехал, тебя бы уже не было в живых.

— Может быть, — соглашается Николай. — Но там никого не осталось. Только Саша Слепцов. Конечно, он один не мог поднять организацию.

Они усаживаются на скамейку, недалеко от того места, где Рона вытекает из Женевского озера. Отсюда им видны ослепительно синее озеро и вышка, с которой ребята бросаются в воду.

— Стасик Волынский хорошо прыгал с вышки, — говорит Утин, задумчиво глядя вдаль.

— Я не люблю этого тона у тебя, — замечает Наташа. — Стасик не мог поступить иначе. Он был поляк и шел бороться за свободу своей родины.

— Тогда мы говорили им, что еще рано поднимать восстание, нужно подождать. И вот он погиб. И Потенбня. И Сераковский. И сколько еще замечательных людей...

— Все это так. Но нечего хандрить и поддаваться грусти.

— Нет, Ната, ты не так меня понимаешь. Я не хандрю. Но боль всегда остается в груди. Она не может исчезнуть. Боль от страданий народа. От гибели друзей.

От этой дикой расправы над Чернышевским. Оттого, что Лавров сослан. Но эта боль активна. Она не дает бездействовать. Было бы подло на нашем месте отсиживаться в сторонке. Тем более, что сейчас виден путь. Мы должны бороться в рядах Международного товарищества. Но нужно создать свою группу, группу русских. Я уже набросал программу. Будем собирать опять силы.

Он оживился. Стал рассказывать о своих планах. Наташа слушала его внимательно, не перебивая. Таким она его любила, горячим, увлекающимся. Грусть не была свойством его характера. Вера в светлое будущее, надежда на лучшее, кипучая деятельность всегда брали верх в его душе. Он отдавал всего себя революционной работе. Он умел зажигать сердца.

Будет своя группа в Интернационале, будет газета. Они сумеют наладить связь с Россией и, несмотря ни на что, возродить там революционную организацию. И когда-нибудь — она верила, она знала — их родина станет свободной. Может быть, это время уже не за горами.

ГЛАВА XIX

В лесочке на границе между Россией и Германией шагает часовой. Уже глубокая осень. Льет дождь. Под ногами хлюпает вода, скользят мокрые, слежавшиеся листья.

Смеркается. Хмурые тяжелые тучи ползут по небу. Налетает порывами холодный ветер, забирается под шинель, пронизывает до костей.

Солдат поеживается, заходит за толстый ствол дерева. Здесь как будто не так дует.

— Эх, щец горяченьких бы, — мечтает он.

Мысли уносят его в родную деревню.

— Как-то там Паранька с ребятами? — вздыхает он. — Небось и у них дожди, а крыша худая...

Тихо. Изредка пискнет синица да дятел постучит клювом. И опять все смолкнет.

Вдруг где-то неподалеку слышится шорох. Что это? Заяц? Контрабандист?

Шорох усиливается. Как будто кто-то крадется по лесу. Часовой вскидывает ружье, вглядываясь в темноту.

— Стой! Кто идет?

Теперь уже ясно слышно, как кто-то бежит к границе. Часовой выстрелил. Еще раз. По лесу прокатилось эхо — и все смолкло.

В этот день Софья Ковалевская пришла раньше всех. Аудитория еще закрыта. Она подходит в коридоре к окну, смотрит на улицу. Черепичные крыши домов блестят, омытые дождем. По стеклу окна стекают крупные капли.

— Добрый день, — раздается сзади голос. Софья оборачивается. Это Ганс.

— Здравствуйте, — говорит она холодно.

— Я решал одну задачу. Не получается. Может быть, вы поможете?

— Нет, где уж нам, женщинам. Раз вы не сумели.

— Прошу вас, попробуйте. Я так хотел бы убедиться...

— Убедиться в чем? Что женщины тоже люди?

— Нет, убедиться в том, что эта задача имеет решение. Я очень прошу вас, — смущенно говорит он.

Софья смеется. У нее такой ясный, звонкий смех, словно прозвенели серебряные колокольчики. Когда она смеется, лицо ее преображается, становится по-детски милым. На щеках образуются ямочки.

Она берет протянутый листок. В это время гурьбой входят студенты.

— Ба, Ганс! Вот пройдоха! Успеваешь раньше всех! — говорит один из них.

Ганс мрачнеет. Подходит к товарищу и говорит вполголоса:

— Вот что! Если ты еще хоть словом обмолвишься... — Он сжимает кулаки. — В общем, пеняй тогда сам на себя!

После занятий Софа, как всегда, заходит в лабораторию за Юлией. Недалеко от университета их уже ждут Анюта и Владимир.

Все вместе они идут по набережной реки Неккара. Только здесь чувствуется приволье и простор.

Софа вдруг толкнула Юлию, и они бегут вперегонки. Потом все спускаются к воде, побродить у самого берега.

— Как я хочу есть, — заявляет Софья.

— Этому легко помочь, — говорит Владимир.

Они все столуются у квартирной хозяйки. Но сегодня суббота, и в этот вечер они разрешают себе немного покутить.

Они заходят в лавку и покупают разных вкусных вещей. Владимир берет бутылку вина, конфеты — он знает, Софа сладкоежка, да и Анюта и Юлия тоже.

Нагруженные покупками, они возвращаются домой. Открывают калитку палисадника. На скамейке возле дома сидит какая-то девушка.

— Боже мой, да ведь это Жанна! — восклицает Анюта.

— Жанна, Жанночка!

— Во сне это или наяву?

Жанна, о которой они столько раз говорили, их умная, строгая Жанна, которая никак не могла вырваться на волю, теперь с ними!

Они ведут ее в дом.

— Как ты к нам попала? Отпустили наконец родители?

— Тсс! — Жанна прикладывает палец к губам, с опаской оглядывается на дверь. — Я убежала из дому, — говорит она вполголоса. — Перебежала через границу. Мне вдогонку часовой кричит: «Стой! Стой!» А я думаю — нет, будь что будет, обратно не вернусь. И побежала быстрее. А он стрелять...

— Какой ужас! — говорит Юля. — Ты не ранена?

— Нет. Здорова и невредима. Но ужасно устала и есть хочу.

Тут только они замечают, что Жанна бледна, что с ней нет никаких вещей и костюм несколько измят.

— Скорей за стол!

Они ставят вино, вынимают закуски.

— Выпьем за нашу отважную Жанну д'Арк! — говорит Анюта.

Все чокаются.

— А я поднимаю тост за всех вас, дорогие девушки, наши подруги, за вашу храбрость, за вашу преданность идее, за ваш боевой дух! — говорит Ковалевский. — На вашем пути еще много препятствий, но, я верю, вы их

преодолеете. Выпьем же за будущего математика Софью, за юриста Жанну, за химика Юлию и за писательницу Анюту! За то, чтобы каждая из вас стала в жизни тем, кем задумала быть! За всех первых женщин, вставших рядом с мужчинами!

Все взволнованы. Поднимают бокалы. Зеленоватосиние глаза Анюты горят вдохновением. Софа покраснелась, каштановые кудри рассыпались по плечам. На лице Жанны написана радость и гордость собой, что, наконец, исполнила то, о чем мечтала многие годы. И даже некрасивое лицо Юленьки кажется сейчас прекрасным.

— Да сбудется! — говорит Софа проникновенным голосом.

— Ура! Ура! Ура!

Наша жизнь коротка,
Все уносит с собой.
Юность наша, друзья,
Пронесется стрелой, —

с чувством запекает Жанна. Все подхватывают.

Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселей!
Пусть студентов семья
Соберется тесней!

Через несколько дней Жанна и Анюта уехали. Жанна — в Лейпциг: еще в Петербурге она узнала, что именно там в университете высоко поставлено преподавание юридических наук. Путь Анюты лежал в Париж.

ГЛАВА XX

Город жил напряженно. Обычно тихая, благополучная Женева была как осадный лагерь. По улицам ходили рабочие патрули. У ворот мастерских и фабрик предприниматели выставили охрану. Люди толпились возле расклеенных всюду афиш, читали: «... Будем твердыми шагами продолжать наш путь, уверенные в справедливости и в неизбежном успехе нашего дела: всемирного освобождения труда из-под гнета капитала».

Это воззвание Международного товарищества рабочих.

В Женеве объявлена стачка. Строительные рабочие, кирпичники, штукатуры, маляры живут в невыносимых условиях. Они работают по двенадцать часов и влачат жалкое, полуголодное существование.

Международное товарищество рабочих пыталось вести переговоры с хозяевами, посылало письма. Но хозяева хранили презрительное молчание.

Тогда вопрос о положении рабочих был вынесен на всенародное обсуждение. Афиши со статьями, написанными умно и ярко, имели огромный успех у населения. Теперь-то хозяева не посмеют отмалчиваться!

И действительно, через несколько дней рядом с афишами рабочих появились афиши предпринимателей. Нет! Хозяева не хотели идти на уступки. Они не желали вести переговоры с Интернационалом и грозили локаутом!

На другой день огромные афиши призывали всех женеvских рабочих на собрание.

Вечером на улице появились синие блузы. Со всех сторон рабочий люд стекался в Тампль Юник.

Лавочники испуганно запирали свои магазины. Из-за занавесок окон боязливо выглядывали обыватели.

На шпиле Тамплъ Юник реет красное знамя Интернационала. Огромный зал не может вместить всех желающих. Люди заполнили коридор, стоят у окон, у дверей, вокруг здания. Каждый чувствует, что не когда-то, а сейчас, в эти дни, предстоит жестокая схватка с капиталом. Все, что они не раз слышали на собраниях, теперь стало делом жизни. Только сплочение, железная выдержка могут принести им победу.

Один за другим выступают ораторы.

— Нам предстоит борьба. Но мы не одиноки. Через океаны и горы, несмотря на все препятствия, нам помогут братья по труду. В этом великая сила нашего союза, нашего Интернационала.

— Хозяева думают нас задушить. Не выйдет. Нужно только крепко держаться друг за друга. Всем строителям, как один, бросить свою работу. А часовщикам и ювелирам, тем, кто не участвует в стачке, помочь бастующим.

— На вокзале и пристанях выставим пикеты. Чтобы не пропустить рабочих, которых хозяева попытаются нанять в других городах. Объясним товарищам положение и убедим их вернуться домой.

— Мы — не рабы. Почему на кирпичном заводе силой заставляют работать? Рабочих не выпускают с завода. Там и ночуют. А когда мы подошли к воротам, стража наставила на нас ружья. В нас полетели камни.

Лиза Томановская вместе с Наташей Утиной и еще несколькими русскими сидит недалеко от трибуны. Она уже полгода как в Женеве, не раз бывала на рабочих собраниях, но еще никогда не видала такого многолюдного, бурного и целеустремленного.

Лиза горит желанием помочь стачечникам.

— Нам нужно побывать в семьях, поговорить с женщинами, — шепчет она Наташе.

— Непременно. И в организации общественной столовой для стачечников мы тоже примем участие.

Собрание кончилось поздно. Для руководства стачкой был избран комитет, куда вошел и Утин.

— Не забудь завтра в десять часов в кафе, — напоминает Наташа Лизе, прощаясь.

Лиза идет домой, в свою небольшую комнату, которую она занимает в Северном отеле, на берегу Женевского озера.

В комнате чисто, уютно. Кровать застлана белоснежным покрывалом. Стол, диван, этажерка с книгами. На стене, против кровати, висит портрет Натальи Егоровны, написанный маслом. Лиза привезла его с собой из Петербурга, из большой гостиной дома на Васильевском острове.

Лиза подходит к портрету. Как-то там живет матери одной в Волоке? Конечно, тоскует. Лиза всматривается в родное лицо, и ей видится в глазах Натальи Егоровны печаль и упрек.

«Я не могла иначе, пойми», — мысленно говорит она матери.

Лиза вспоминает усадьбу в Волоке, старинный парк вокруг и тихую речку.

Как хорошо там бывает ранней весной, когда в воздухе пахнет терпким запахом набухающих почек и талой водой! Кругом бегут ручьи, и по утрам река окутана белым легким туманом. Но вот туман понемногу рассеивается, блеснуло солнце и загорелось все вокруг, заиграли капельки росы на траве и кустах, бронзовые блики легли на высокие сосны. Ранней весной в лесу просторно, как в храме с колоннами.

Потом весна вступает в свои права. Начинается буйное цветение. Березы покрываются нежной листвой, и сад стоит в бело-розовой кипени. А ветки сирени стучатся прямо в окно.

Лиза любила рано утром по росе тихонько убежать на луг за ромашками. Слушать свирель пастуха, мычание коров и негромкое позванивание колокольчиков. Притаившись в лесу, смотреть, как прыгает с ветки на ветку рыжая белка. Следить за полетом стрекоз.

Хорошо в Волоке и летом, в ясные погожие дни, когда в речке вода, как парное молоко. И осенью, когда лес стоит в радужном разноцветье. Хорошо и привольно...

Но счастлива Лиза только здесь, в Женеве. Здесь она нашла свою дорогу, своих единомышленников и дорогих сердцу друзей.

Они часто собирались вместе, то в кафе, то в Тамплъ Юник, то на квартире у Утиных.

Говорили о революции, о делах Интернационала, о событиях на родине, читали и разбирали книги.

Они все сходились на том, что революцию надо подготавливать, поднимая политическое сознание трудящихся. Что в России тоже необходимо создавать рабочие союзы и крепить единство с пролетариями Запада.

Они были яркими противниками Бакунина, который не придавал значения политической пропаганде и считал, что революцию можно сделать сразу, взбунтовав народ. Нет, это опасный путь. Он поведет ко многим бессмысленным жертвам и только отдалит желанную цель.

Расстелив постель, Лиза берет с этажерки книгу. Здесь, рядом со стихами Пушкина, Лермонтова, Некрасова, стоят «Энциклопедия философских наук» Гегеля, «К критике политической экономии» Маркса.

Лиза снимает с полки томик стихов Гейне. Она любит стихи великого немецкого поэта.

Будь не флейтою безвредной,
Не мещанский славь уют —

Будь народу барабаном,
Будь и пушкой и тараном,
Бей, рази, греми победно! —

писал Гейне. Поэзия должна быть воинственной.
Именно такой она была у Генриха Гейне.

Лиза находит свое любимое стихотворение
«Силезские ткачи».

Угрюмые взоры слезой не заблещут!
Сидят у станков и зубами скрежещут:
«Германия, саван тебе мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем!
Мы ткем тебе саван.

Будь проклят бог! Нас мучает холод,
Нас губят нищета и голод,
Мы ждали, чтоб нам этот идол помог,
Но лгал, издевался, дурачил нас бог.
Мы ткем тебе саван.

Будь проклят король и его законы!
Король богачей, он презрел наши стоны,
Он последний кусок у нас вырвать готов
И нас перестрелять, как псов!
Мы ткем тебе саван.

Будь проклята родина, лживое царство
Насилья, злобы и коварства,
Где гибнут цветы, где падаль и смрад
Червей прожорливых плодят!
Мы ткем тебе саван.

Мы вечно ткем, скрипит станок,
Летает нить, снует челнок,

Германия, саван тебе мы ткем!
Вовеки проклятье тройное на нем!
Мы ткем тебе саван».

Какие смелые, разящие как кинжал слова. И как глубоко должен был мыслить поэт, чтобы написать такие строки. Как он должен был страдать за свою родину.

Уже засыпая, Лиза думает о жизни Гейне, о том, что поэту не простили его воинственной лиры и он вынужден был всю жизнь провести в изгнании так же, как наш Герцен, как другие великие люди, которые осмеливаются поднять голос против деспотизма и произвола.

На другой день, как было условлено, они собрались в кафе, в боковой комнате, где бывали обычно. Их немного, всего восемь. Но они очень осторожно подбирают людей из среды русских эмигрантов.

— Друзья! — говорит Николай Утин. — Настало время. Нам нужно поговорить серьезно. Все мы участвуем в революционной борьбе. Но, чтобы быть полезными своему народу, надо самим ясно видеть свои цели. Нам нужно объединиться, организовать русскую секцию Интернационала, которая имела бы свою программу, устав, свой печатный орган.

— Это очень правильно и давно назрело, — откликается Екатерина Григорьевна Бартенева, смуглая кареглазая женщина. С мужем и двумя детьми она тоже полгода, как приехала из России.

— Обязательно нужно объединиться и четко выразить свои взгляды, — поддерживает Лиза Томановская. — Я была в России в революционном кружке. Там идут споры — что делать молодежи: учиться или бросать ученье и идти в народ?

— И вести ли пропаганду только среди студентов или также среди рабочих и крестьян? — добавляет Виктор Иванович Бартенев.

— Ясно, что нам нужно иметь программу. И иметь свою газету или журнал, чтобы через него оказывать воздействие на русскую молодежь. Таким органом может быть наш журнал «Народное дело». Но его надо отвести из-под влияния Бакунина, — говорит Александр Данилович Трусов.

В прошлом студент медицинского факультета Московского университета, Трусов во время польского восстания перешел на сторону поляков и командовал повстанческим отрядом. За это царское правительство его так же, как Утина, заочно приговорило к смертной казни.

После подавления восстания Трусов бежал в Париж. Там он работал наборщиком и основательно знал типографское дело.

— Одним словом, нам нужна своя типография. Я мог бы помочь в организации, в печатании. Но где взять деньги? — спрашивает Александр Данилович.

На какой-то момент в комнате наступает молчание.

— А для чего же мое приданое? — раздается звонкий голос Лизы.

— Приданое? Но ведь вам самой нужны деньги. И потом — что скажет муж? — замечает Александр Яковлевич Щербаков.

— О, муж не будет возражать. Мы с ним хорошие друзья, — смутившись и чуть покраснев, отвечает Лиза.

— Я тоже могу помочь в финансовых делах, — говорит Ольга Степановна Левашева.

— Ура нашим женщинам! — восклицает Утин. — Кто сказал, что женщины не могут участвовать в общественных делах? Чушь и вздор! Женщины могут быть самыми лучшими организаторами и самоотверженными борцами. Мы в своей программе

специально сделаем пункт, где будет оговорено участие женщин. Да здравствуют первые женщины — бойцы Интернационала!

— Ты не думаешь, что мы чересчур возгордимся и организуем свое товарищество? Тогда вам будет несдобровать. Без нас пропадете, — засмеялась Наташа Утина.

— Нет, я не боюсь. Ничего нет крепче истинной дружбы, основанной на общности интересов.

— Все это было бы как нельзя лучше. Мы могли бы отсюда помогать русскому революционному движению. Свой журнал мы бы стали рассылать и в провинцию, где так нуждаются в разумном слове, — говорит Щербаков. Он вспоминает, сколько было разногласий среди студентов Казанского университета, где он учился. Они четко не видели пути. Их заговор был раскрыт. Начались аресты, ссылки. Ему и еще нескольким студентам удалось бежать из тюрьмы сюда, за границу.

— Итак, друзья, мы решили, — снова говорит Утин. — Объединимся во имя светлой цели, во имя нашей многострадальной родины, во имя революции в России. Немедля приступим к составлению программы и устава и пошлем письмо в Генеральный совет в Лондон с просьбой принять нас в Международное товарищество рабочих.

— Ура! — все вскакивают, пожимают друг другу руки, окружают Утина.

Уславливаются о новой встрече.

— А теперь пойдемте гулять. Погода такая чудесная, — предлагает Наташа.

— В горы! — говорит Лиза. — Я ведь еще далеко и не ходила.

Щербакова и Трусова ждали неотложные дела. У Левашевой был болен ребенок, она спешила домой.

На прогулку пошли Лиза, Утины и Бартеневы.

Миновав окрестности Женевы, они стали подниматься на гору Салев. Внизу блесло голубое озеро и маленькие парходики скользили, словно какие-то водяные жуки. Дома Женевы казались игрушечными.

Наверху был снег. Солнце, закрытое вершиной горы, бросало вокруг рассеянный свет.

По крутой тропинке они взбирались все выше и выше. И вот они вступили на перевал и остановились, пораженные невиданным зрелищем. В глаза блеснуло яркое солнце. Они словно окунулись в море света и воздуха. Склон Салева, весь покрытый белой пеленой снега, полого спускался вниз и, изогнувшись, снова поднимался. И там, вдали, на фоне голубого неба, сияла под лучами солнца могучая вершина, отбрасывая синие зубчатые тени.

— Монблан! — негромко сказал Утин.

Они долго стояли молча. Эти огромные чистые просторы и величавая, с вечными снегами вершина звали к великим делам, к подвигам.

— Всю жизнь отдать на служение народу! — порывисто сказала Лиза.

Катя Бартенева обняла ее за плечи. Она была старше Лизы на восемь лет, более опытная и в жизни, и в революционной борьбе.

— Предстоит большая работа. Надо, чтобы люди поняли. Здесь нужна не только храбрость, но и выдержка, — задумчиво промолвила она.

— Когда мы составим программу и устав, мы напишем письмо Марксу, — сказал Николай Утин. — Маркс — великий человек, который сумел раскрыть внутренние пружины жизни общества. Он так же, как мы, ненавидит царский строй и ждет пробуждения русского народа. Он изучил наш язык, чтобы в подлиннике читать русскую литературу, нашего Чернышевского. Мы попросим Маркса быть нашим

представителем в Генеральном совете. Я верю, он согласится. И это будет днем нашего рождения.

ГЛАВА XXI

В марте 1869 года в Петербурге, снова вспыхнули студенческие волнения.

На этот раз беспорядки начались в Медико-хирургической академии. Из академии был незаконно исключен студент. Товарищи заступились. На сходке, где присутствовало более полутора тысяч студентов, выступали горячо и страстно. Требовали возвращения уволенного студента. Уничтожения полицейской опеки. Свободы собраний, свободы слова. Вспомнили о другом студенте, который незадолго до этого также был исключен из академии. За то, что недостаточно почтительно разговаривал с инспектором. Тогда тоже студенты бунтовали. Начальство обещало исключенного вернуть, но не сделало этого.

На сходке студенты требовали к ответу инспектора.

— Пусть скажет, почему не сдержал слово. Почему в академии процветают доносы и подслушивания.

На другой день появился приказ о запрещении сходок. Зал, где обычно происходили студенческие собрания, как тогда в университете, оказался закрытым.

И так же, как тогда, студенты сломали двери. Сходки продолжались и в этот, и на другой, и на третий день. Были выбраны делегаты, которых собрание послало за инспектором. Инспектор без шинели и шапки убежал в клинику к Боткину.

Студенты всей массой вышли на улицу и осадили клинику. Они решили здесь быть до вечера и даже провести ночь, но добиться объяснения с инспектором.

Около девяти часов вечера к студентам вышел Сергей Петрович Боткин. Это был любимый профессор студенчества. Он пользовался большой популярностью

за свои исключительные знания и свободолюбивые мысли.

Боткин обратился к студентам. Он просил их успокоиться и пропустить домой инспектора.

— А почему он от нас прячется? Согласитесь, это неблагородно!

— Пусть выйдет к нам и скажет, почему до сих пор не восстановлен Василевский!

— И за что исключили Надуткина. Все знают, что экзамены он сдал. Просто затеряли его экзаменационный лист, — раздались возгласы.

— Все эти вопросы будут разобраны. Но я прошу вас сейчас не задерживать инспектора. Тем более, что сегодня он мой гость, и вы, надеюсь, хотя бы поэтому не захотите причинить ему неприятности, — мягко сказал Боткин.

Наступила тишина. Сергей Петрович вернулся обратно в клинику, вышел вместе с инспектором и провел его сквозь толпу.

Медики молчали. Из уважения к Боткину они решили сейчас не вступать в конфликт с инспектором. Но выразить письменный протест против его поведения и продолжать сходки в академии до тех пор, пока не будут удовлетворены все требования.

В эту ночь полиция арестовала многих студентов. Когда на другой день медики пришли к академии, она оказалась закрытой. На территорию академии никого не впускали.

Сотни студентов собрались перед зданием академии. Они запрудили все прилегающие улицы. К ним присоединился еще народ. Виднелись пестрые платки и шляпки женщин, серые крестьянские зипуны и кое-где — картузы мастеровых.

Толпа шумела. То здесь, то там раздавались возмущенные крики:

— Долой полицейский режим!

— Долой инспектора Смирнова!

— Наше дело правое!

Какой-то светловолосый юноша в клетчатом пледе забрался на ограду и говорил оттуда:

— Господа! Мы не одиноки. Поднимать народ надо. Смелее! Поклянемся же, что мы не побоимся ни тюрем, ни ссылок, ни даже смертной казни.

— Клянемся! — как из одной груди, вырвался крик. Сотни рук поднялись, сжатые в кулаки.

В это время из боковой улицы показались конные жандармы. Они ехали неторопливо, прямо на народ.

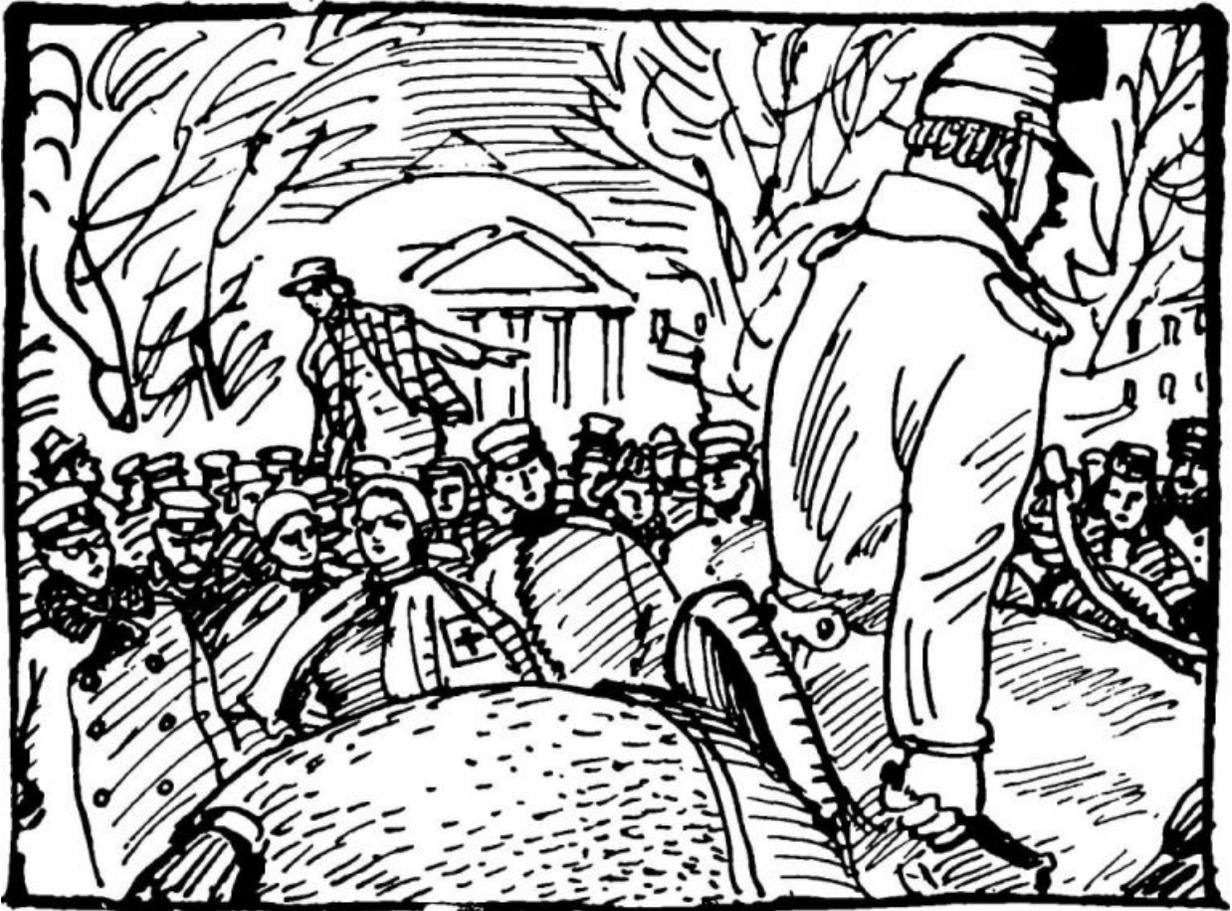
— Рразойдись! — закричал офицер, помахивая ременной плетью.

— Почему закрыли академию?

— Мы требуем инспектора!

— По приказу его превосходительства генерала Трепова сходки запрещены! Прошу немедленно разойтись по домам! — еще раз выкрикнул офицер.

Лошади жандармов стали теснить студентов. Кто-то упал. Его едва успели оттащить из-под копыт лошади. Рассеченное лицо заливала кровь.



- Отвести надо в амбулаторию.
- Нет, там его арестуют.
- Тогда домой.
- Давайте отведем его на квартиру к Сусловой. Там его не посмеют взять. Она здесь недалеко живет.

Суслову все знали. Ее имя среди молодежи произносилось с уважением и теплотой.

Боковыми улицами раненого повели на Сергиевскую к Надежде Прокофьевне.

Под напором жандармов толпа отходила к берегу Невы. И вдруг кто-то бросил клич:

- На лед, друзья! На лед! Здесь они нас не возьмут! Студенты побежали на лед Невы.

Жандармы подскакали к берегу и остановились. Так они стояли друг против друга — вооруженные до зубов

конные жандармы и безоружные студенты.

Спуститься на лед жандармы не решились, и студентам удалось уйти.

В тот же день на стене в коридоре университета появился клочок бумаги. На нем было всего несколько торопливо написанных слов. Студенты-медики призывали студентов университета принять участие в общем деле.

Клочок бумаги висел недолго. Его заметил кто-то из администрации и сорвал. Но искра была брошена. Пламя побежало как по бикфордову шнуру. От одного к другому передавались слова воззвания.

Как тогда, восемь лет назад, зашумел длинный университетский коридор. По нему толпились группами, бежали студенты, о чем-то возмущенно толкуя, размахивая руками.

— На сходку, господа! На сходку!

В университет была вызвана полиция. Во дворе, в вестибюле появились синие мундиры. Жандармский офицер уговаривал и просил. Но сходка все же была проведена.

На другой день у дверей залов и аудиторий была выставлена охрана.

Тогда студенты стали устраивать свои собрания в разных концах города, на Петербургской и Выборгской стороне, в Измайловском полку, на Васильевском острове.

Третье отделение доносило царю о «постоянно возрастающем брожении», о «таком настроении умов», при котором требовался «только случай, чтобы дать повод к явным беспорядкам». Царь был напуган. У всех еще были живы в памяти волнения начала шестидесятых годов, прокламация «К молодому поколению».

Снова правительство закрыло университет. Усилились полицейские облавы, аресты.

Но движение ширилось, росло. Волнением охвачены другие учебные заведения, Технологический институт, Земельный. Появились воззвания, рукописные листки. Вышла печатная прокламация «К обществу». В ней студенты излагали свои требования и призывали к солидарности.

«Общество должно поддержать нас, потому что наше дело — его дело. Относясь равнодушно к нашему протесту, оно куёт цепи рабства на собственную шею», — говорилось в прокламации.

Борьба разгоралась. Началось брожение среди рабочих. Кое-где рабочие открыто выражали свое недовольство. Это были еще слабые, стихийные выступления. Русский пролетариат, вчерашние крестьяне, был еще немногочислен. Ему не хватало организованности и политической направленности.

Вот уже год, как Сулова в Петербурге. Сразу же по приезде она хотела начать работать врачом. Однако для этого надо было получить разрешение особой комиссии, существовавшей при Медико-хирургической академии. Выдавать женщинам такое разрешение было запрещено. Правительство не собиралось делать для Суловой исключения.

Как быть? Неужели все усилия, все мечты пропали даром? Перед Суловой встала стена равнодушия, стена из чиновников, из министров толстых, из жандармов долгоручковых. Об эту стену разбивались все ее помыслы.

Но ученые России не могли этого допустить. Они подняли голос в защиту первой женщины-врача. Это был, по существу, голос за женское равноправие, за женскую эмансипацию, против векового рабства.

«...В настоящее время в цюрихском университете выдержала экзамен на степень доктора медицины глубоко уважаемая всеми знающими ее соотечественница наша Н. П. Суслова. Теперь, когда задача всей ее жизни наполовину закончена, дай бог, чтобы ей была дана возможность приложить свои знания к делу в нашем отечестве. Грустно было бы думать в самом деле, что даже подобные усилия, столь явно искренние по отношению к цели, могут быть потрачены даром, а это возможно, если она встретит равнодушие в нашем обществе...» — писал Иван Михайлович Сеченов в одной из газет.

В журнале «Дело» появилась статья, где рассказывалось о защите Сусловой диссертации и о ее приезде в Россию. Дальше редакция писала:

«...До сих пор, как мы видели, г-жа Суслова, хотя и была окружена всевозможными препятствиями, но достигла своей цели, к которой так долго и так упорно стремилась. Дальнейшая ее деятельность — применять свои знания на пользу русского общества, зависит уже не от ее воли... Возможность подобного применения своих знаний зависит не от нее, а от правительства...»

...Г-жа Суслова сделала для достижения своей цели все, что могла, и на что, конечно, способны только необыкновенно энергичные натуры. Она геройски вынесла на своих плечах разрешение вопроса, способна ли русская женщина быть медиком-ученым. Если будет ей дана возможность, то она докажет также, способна ли женщина быть медиком-практиком...»

Такую возможность ученые нашли.

В уставе, которым руководствовалась комиссия, была статья, согласно которой тот, кто имел иностранный диплом, пользовался правом, после испытания, получить диплом в России. Эту статью применили к Сусловой, преднамеренно забыв, к какому полу она принадлежит.

Надежду Прокофьевну допустили к экзамену. По существу это была вторая защита диссертации, но она блестяще с ней справилась. По поводу всего этого Герцен иронизировал:

«...госпожа Сулова, которая блестящим образом закончила в Цюрихе изучение медицины и получила диплом доктора, только что сдала экзамен в Петербурге. Успех был вне сомнения, опасность угрожала с другой стороны, со стороны пола Суловой. Факультет прибегнул к довольно остроумному выходу. Он взглянул на Сулову как на доктора, дипломированного иностранным университетом. И, так как лица, владеющие иностранным дипломом, пользуются в России правом после испытания получить звание доктора, профессора признали Сулову доктором медицины».

Сергей Петрович Боткин, председатель комиссии, поздравил Сулову. Теперь она могла, наконец, заняться любимым делом.

Ее можно было видеть в богатых районах и на окраинах города. С врачебной сумкой в руках, на которой был пришит кумачовый красный крест, она спешила по первому вызову к больному. Ее не останавливали ни непогода, ни расстояние, ни даже ночь. Сама выросшая в крестьянстве, она не боялась нищеты и грязи петербургских трущоб. Она заглядывала в такие углы, где никогда еще не ступала нога врача.

На рецепты она теперь ставила свою печать, на которой было выгравировано: «Женщина-врач Н. П. Сулова». В бедных семьях она не брала платы. Но часто в своей сумке сама приносила лекарства. И вместе с лекарствами — масло, сахар, булку.

Ее пациентами были главным образом женщины. Они шли к ней домой, приводили детей. Некоторые были действительно больны, другие шли просто за советом. К

ней приходили полуслепые, шамкающие старухи и молодые девушки.

Она получала пачками письма. Женщины писали ей со всех концов России: научите, куда ехать, как пробиться, чтобы стать полезной в жизни, чтобы стать врачом.

Писали и из-за границы. Вот она держит в руках письмо известного английского ученого-экономиста Джона Стюарта Милля:

«С чувством удовлетворения, смешанным с удивлением, узнал я, что в России нашлись просвещенные и мужественные женщины, возбудившие вопрос об участии своего пола в разнообразных отраслях высшего образования, в том числе и занятиях практической медициной. То, чего с постоянно возрастающей настойчивостью требовали для себя образованнейшие нации других стран Европы, благодаря Вам, милостивая государыня, Россия может получить раньше других...»

Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев, обращаясь к русским женщинам, стремившимся получить медицинское образование, опубликовал письмо в газете «Голос»:

«...Сколько мне известно, русское общество не только не ответит Вам отказом, но уже отозвалось, горячо и деятельно отозвалось на ваши столь справедливые стремления. Оно доказало, что... одинаково убеждено в чистоте ваших намерений, и в той великой пользе, которую вы призваны принести нашей родине.

Можно утвердительно сказать, что и при настоящем ее положении Родина эта нуждается еще более в женщинах-врачах, чем во врачах вообще, хотя количество даже этих врачей несоразмерно мало в сравнении с настоящей в них потребностью. Исторические судьбы России налагают на русскую

женщину особые и высокие обязанности, при исполнении которых она уже заявила столько самопожертвования, столько способности к честному и стойкому труду, что было бы неразумно, было бы грешно (не говорю уже — ставить ей преграды на указанном выше пути) не способствовать ей всеми мерами к осуществлению ее призвания.

Поверьте, за вас в этом вопросе все честное на Руси, все любящее свою Родину, все желающее ей блага...»

Надя вспоминает детство, сельцо Панино, покосившиеся избенки, заросший пруд, и ей становится и грустно, и радостно. Да, она достигла, она сумела. И она верит в то, о чем когда-то записала в своем дневнике:

«Я — первая, но не последняя! За мною придут тысячи!»

Так будет. Женщина станет свободной и равной в обществе.

Суслова думает о тех днях, когда они собирались с друзьями у Утина, у Лаврова... Многих уже нет в живых. Поредела их гвардия, но не погибло дело. Надя тоже принадлежала к тайному революционному обществу «Земля и воля». И хотя общество разгромлено, оно возродится в других революционных организациях. Надя знает, в Женеве собирается группа. Здесь сейчас снова вспыхнули бурные студенческие волнения.

Суслова входит в комнату, где лежит студент Медико-хирургической академии. Он спит. Совсем еще молодой. На верхней губе едва пробивается светлый пушок.

Когда его принесли товарищи, он был без сознания. Видимо, от большой потери крови. Надя перевязала ему рану, привела в чувство.

Она смотрит на больного, и в ее серых глазах загораются жесткие искорки. Конечно, она выйдет

юношу и сумеет спрятать его от полиции. Но сколько еще предстоит битв...

И так же упорно, как она шла к своей цели, она готова бороться за народную власть. Даже если за это придется отдать жизнь!

ГЛАВА XXII

С маленьким чемоданчиком в руке Анята вышла с Восточного вокзала.

Ее оглушил шум парижских улиц, грохот тележек, крики разносчиков, стук лошадиных подков, веселый говор и смех идущих людей. Где-то шарманка выводила старинную мелодию. Чистильщики сапог, стекольщики, трубочисты нараспев предлагали свои услуги. Ловко лавируя в толпе, бежали мальчишки-газетчики, звонко выкрикивая последние новости. Цветочницы протягивали букеты осенних цветов.

В магазинах, на лотках виселись горы овощей, зелени, фруктов. Рыба плескалась в садках. В корзинках, вперемежку с еловыми ветками, лежали огромные крабы, устрицы, улитки.

Прямо на тротуарах, под полосатыми тентами, расположились кафе, закусочные с веселыми названиями: «Тушеный кролик», «Встреча друзей», «Свидание кучеров». Тут же свободно бегали дети.

Как все это было не похоже ни на сонный Гейдельберг, ни на Петербург. Здесь все было живее, солнечнее. И яркие костюмы женщин, и какая-то веселая непринужденность, и улыбки.

Анята была одна в этом огромном городе. Но он не пугал. Он вселял бодрость и радость жизни.

Найти комнату и работу! Да, обязательно работу. Хотя отец присылает ей деньги, но кто знает, как будет, если вдруг обнаружится ее побег из Гейдельберга. И потом — она хочет и должна стать самостоятельной! И быть ближе к рабочим, самой сделаться частицей рабочего класса.

И вот Анята сняла недорогую комнату в районе Пюто. Но с работой получилось не так просто.

На первой же фабрике ее спросили:

— А что вы умеете делать?

Анюта растерялась. Еще никто не задавал ей такого вопроса. В самом деле, что она умеет?

— Может быть, работать на ткацких станках? Или в красильном цехе?

Анюта отрицательно покачала головой.

— Тогда принять не можем. Вас слишком долго обучать.

Анюта пошла на другие фабрики, в швейные мастерские. И везде ее спрашивали одно и то же: где она работала, есть ли рекомендации. Ученики не нужны были.

«Вот и работать негде. Ничего-то я не умею в свои двадцать шесть лет. Только проживать, что сделано другими», — думала Анюта. Но она не хотела сдаваться. Надо еще поискать!

Вечером, идя по улице, она увидела вывеску: «Клуб типографских рабочих» — и вместе с другими зашла. Небольшой зал был уже полон. Анюта остановилась в нерешительности недалеко от двери.

— Иди сюда. Здесь есть место, — позвала ее какая-то девушка.

— Откуда ты? Я тебя раньше не видела на наших собраниях.

— Я из России.

— Ого! Это где медведи по улицам ходят?

— Есть и медведи. Настоящие в лесах. А есть люди как медведи. И как волки. Не все, конечно.

— А зачем ты к нам приехала?

— Посмотреть, как вы живете.

— Думаешь, у нас нет волков? Еще сколько. Вот, например, наш хозяин фабрики. Ты где работаешь?

— Я еще не работаю.

— Устроиться трудно. Мы тебе поможем. Жаклар, Виктор!

К ним подходит высокий молодой человек. Узкое лицо, небольшой, несколько женственный рот, круглая черная бородка. Вся фигура подтянута и изящна.

— Эта девушка из России, — говорит соседка Анюты. — Ей нужно устроиться на работу.

— О, из России! Здравствуйте, — произносит Жаклар по-русски. — Я немного изучал ваш язык.

Но он сейчас же переходит на французский. Спрашивает Анюту, давно ли она приехала, что слышно о Чернышевском.

— Я постараюсь вас устроить. Пойдемте, пока не началось собрание, я познакомлю вас с писательницей Андре «Лео. Она у нас принимает самое горячее участие в судьбе женщин.



Письмо составляли все сообща:

«Дорогой и уважаемый гражданин!

От имени группы русских мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам честь быть нашим представителем в Генеральном Совете Международного Товарищества в Лондоне. Эта группа русских только что образовала секцию Интернационала, так как великая идея этого международного движения пролетариата проникает также и в Россию. При создании этой первой Русской секции мы прежде всего ставим своей целью (как Вы увидите из прилагаемого устава) оказывать всемерную энергичную помощь активной пропаганде принципов Интернационала среди русских рабочих и объединять их во имя этих принципов...

Наше настойчивое желание иметь Вас нашим представителем объясняется тем, что Ваше имя вполне заслуженно почитается русской студенческой

молодежью, вышедшей в значительной своей части из рядов трудового народа. Эта молодежь ни идейно, ни по своему социальному положению не имеет и не желает иметь ничего общего с паразитами привилегированных классов, и она протестует против их гнета, борясь в рядах народа за его политическое и социальное освобождение. — Воспитанные в духе идей нашего учителя Чернышевского, осужденного за свои сочинения на каторгу в Сибирь в 1864 г., — мы с радостью приветствовали Ваше изложение социалистических принципов и Вашу критику системы промышленного феодализма. — Эти принципы и эта критика, как только люди поймут их, сокрушат иго капитала, поддерживаемого государством, которое само является наймитом капитала. — Вам принадлежит также выдающаяся роль в создании Интернационала, а в том, что касается специально нас, то опять-таки именно Вы неустанно разоблачаете ложный русский патриотизм, лживые ухищрения наших демосфенов. Русская демократическая молодежь получила сегодня возможность устами своих изгнанных братьев высказать Вам свою глубокую признательность за ту помощь, которую Вы оказали нашему делу Вашей теоретической и практической пропагандой, и эта молодежь просит Вас оказать ей новую услугу: быть ее представителем в Генеральном Совете в Лондоне...

Примите, гражданин, от имени всех наших братьев выражение нашего глубочайшего уважения».

Так писали Утин и его друзья Марксу. С нетерпением они ждали ответа.

Они собирались каждый день. Подробно обсуждали свою программу и пути ее осуществления. Намечали темы статей для «Народного дела». Занимались женевскими вопросами.

Настроение у всех было бодрое. Еще бы! Стачка в Женеве победила. Хозяева сдались. Рабочий день был уменьшен, жалование прибавлено.

Стачка имела резонанс во всей Европе. Из Парижа, из Лондона, из Лиона шли деньги бастовавшим женеvцам. А вскоре вспыхнули стачки во Франции. И женеvцы делали сборы братьям по классу.

Авторитет Интернационала возрос, необычайно. Рабочие массами вступали в свое Международное товарищество. Молодые и старые спешили в Тампль Юник, чтобы послушать оратора или в одной из боковых комнат заняться с преподавателем историей, арифметикой или географией. Затаив дыхание, они слушали про строй, где орудия производства будут принадлежать народу и не будет различий сословий, рас и национальностей. Они теперь убедились, как можно побеждать, если крепко держаться друг за друга.

Впервые возникла секция в деревнях, окружавших Женеву. Это была секция кирпичников.

За время стачки Лиза Томановская особенно подружилась с Катей Бартеневой. Им как-то все больше приходилось вместе выполнять поручения.

Лизе нравился спокойный, твердый характер Кати. Ее внимательный, чуть с насмешинкой взгляд больших карих глаз. Умение говорить с людьми.

Лиза была более порывистой, горячей, и она всегда удивлялась и немного завидовала людям спокойным, уравновешенным.

Несмотря на то, что Катя была дочерью помещика, внучкой генерал-губернатора Восточной Сибири, детство ее протекало в обстановке небогатой. Имения у родителей не было. Пять крепостных слуг — вот все достояние отца.

Катя вспоминала, как ей перекраивали старые платья, как в доме сэкономили каждую свечу.

Отец — Григорий Семенович Броневский — был человеком просвещенным и свободолюбивым. Он рассказывал детям о декабристах, о ссыльных поляках, читал «Горе от ума», стихи Рылеева.

Когда Кате исполнилось одиннадцать лет, ее отдали в Екатерининский институт, где отец заведовал хозяйством.

Катя пристрастилась к чтению. Позднее она увлеклась сочинениями Чернышевского, Писарева, Добролюбова. Она бывала на студенческих собраниях, в революционных кружках.

Подпоручик Виктор Бартнев, с которым познакомилась Катя, тоже участвовал в революционных кружках. В знак сочувствия к восставшим полякам он вышел в отставку.

Кате было двадцать лет, Виктору Бартневу двадцать пять, когда они поженились. Вскоре после женитьбы Катя получила в наследство от родственников четыре имения. Теперь Бартневы были богаты. Однако это ничего не изменило в их мировоззрении. Они по-прежнему горячо сочувствовали свободолюбивым идеям. Всю свою землю Бартневы безвозмездно отдали крестьянам. И уехали за границу искать пути для революционной борьбы.

Они не сразу разобрались в тех группах и течениях, которые существовали среди русских эмигрантов. Бакунин увлек их своими революционными фразами, своим авторитетом. Бартневы вступили в бакунинский «Альянс»^[2]. Но вскоре вышли из него, как и многие другие. Александр Данилович Трусков тоже вначале был сторонником Бакунина, пока не разглядел пустозвонство и вред анархистских идей.

— Я думаю, Маркс будет рад созданию нашей секции, — говорит Катя Лизе.

— Я тоже верю — он согласится быть нашим представителем.

Они спешат к Утиным узнать, не получено ли письмо.

— Вчера мне мама прислала весточку. Спрашивает, почему я в Женеве живу одна, не с Михаилом Николаевичем, — говорит Лиза.

— Разве она не знает, что брак фиктивный?

— Нет. Зачем ей говорить? Она будет переживать. Хотя, может быть, она догадывается.

— Да, это верно. Родители не всегда могут нас понять. Скажи, Лизок, а ты никого еще не любила?

Какая-то тень, словно облачко, скользнула по лицу Лизы.

— Нет, — сказала она задумчиво, как бы больше самой себе. — Это не была любовь. Так, увлечение. Любовь — это что-то большое. Когда мысли, и взгляды, и чувства — все едино. Когда жить не можешь без этого человека. Тогда приходит счастье.

— Если говорить о личной жизни. А вообще, когда я думаю о счастье, я вспоминаю Писарева. Помнишь, он сказал: «Счастье состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой без колебаний, безраздельно посвятить всего себя».

— Это очень верно, — откликнулась Лиза. — Я вижу счастье в борьбе. Но знаешь, многие из людей интеллигентных увлекаются идеями, а делать ничего не делают. Де-мол сочувствую, а жить хочу без волнений, жизнь ведь одна. Порой бывает трудно вылезть из собственной шкуры, расстаться с привычками. И тогда...

— Скорей! Письмо из Лондона! — слышат они откуда-то сверху звонкий голос. Высунувшись из окна третьего этажа, Наташа кричит и машет письмом. Лицо ее светится радостью.

Катя и Лиза взбегают по ступенькам. Навстречу им идет почтальон.

У Утиных уже все в сборе.

— Только что получили. Еще не вскрыли — я увидела вас в окно, — говорит Наташа.

— Лиза, читайте вслух. У вас дикция хорошая, — говорит, улыбаясь, Николай Исаакович. Видно, он волнуется, хотя старается быть спокойным.

Лиза раскрывает сложенный вчетверо листок.

«ГРАЖДАНЕ!

В своем заседании 22 марта Главный Совет объявил единодушным вотумом, что ваша программа и статут согласны с общими статутами Международного Товарищества Рабочих. Он поспешил принять вашу ветвь в состав Интернационала. Я с удовольствием принимаю почетную обязанность, которую вы мне предлагаете, быть вашим представителем при Главном Совете.

...Несколько месяцев тому назад мне прислали из Петербурга сочинение Флеровского «Положение рабочего класса в России». Это настоящее открытие для Европы. Русский оптимизм, распространенный на континенте даже так называемыми революционерами, беспощадно разоблачен в этом сочинении. Достоинство его не пострадает, если я скажу, что оно в некоторых местах не вполне удовлетворяет критике с точки зрения чисто теоретической. Это — труд серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного критика, мощного художника и, прежде всего, человека, возмущенного против гнета во всех его видах, не терпящего всевозможных национальных гимнов и страстно делящего все страдания и все стремления производительного класса.

Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века.

Привет и братство!

Карл Маркс.

Лондон, 24 марта 1870 г.»

На другой день, взволнованные, они собрались в Тампль Юник. Пришли товарищи из женевских секций. Праздновали рождение Русской секции.

— Мы постараемся оправдать доверие, которое оказал нам Генеральный совет и лично Маркс, — сказал Николай Утин. — В своей программе мы записали — всеми возможными средствами пропагандировать в России идеи Интернационала. Для этого мы не пожалеем своих сил и даже жизни.

Старый друг Маркса и Энгельса Иоганн Филипп Беккер приветствовал своих русских товарищей.

— Образование Русской секции является великим событием, которое давно ожидали в Западной Европе. Если первой Русской секции удастся помочь соединению русских и западных братьев, в этом будет важная заслуга в деле освобождения угнетенного человечества, — сказал он.

Да, это было действительно большое событие. До сих пор все усилия революционеров в России были направлены на пропаганду среди крестьян. Впервые в истории русские революционеры признали роль рабочего класса в своей стране и стали на путь единения с трудящимися Запада. И хотя они еще не до конца понимали учение Маркса, не до конца уяснили себе роль пролетариата, придавая большое значение крестьянской общине, все же это было огромным шагом вперед.

ГЛАВА XXIII

Алая полоска зари чуть тронула край небосклона. И вот первые лучи солнца побежали по крышам, по верхушкам деревьев, заглянули в окна мансард.

Анюта вскакивает с кровати. Она ужасно боится проспать. Вот уже четыре месяца, как она работает.

Схватив полотенце, Анюта бежит умываться. По дороге она останавливается у зеркала. Что и говорить, она любит здесь задерживаться! Оттуда на нее смотрит красивая девушка с нежным овалом лица и волной длинных волос цвета спелой ржи. Ее сине-зеленые глаза любопытно и чуть сонно разглядывают Анюту.

— Ах вот вы какая! — говорит Анюта. — Не выспались. Может быть, хотите еще понежиться в постельке? И не принести ли вам в кроватку сдобных булочек с кофейком, как, помните, это бывало в Палибине?

Глаза в зеркале становятся насмешливыми.

— Не хотите? Как это у Пушкина — барышня-крестьянка? А вы теперь барышня-работница. Да, да! Набор-щи-ца! — говорит Анюта нараспев и пальцем вздергивает нос кверху.

Она смотрит на свои руки. Они уже не такие белые и нежные, как были раньше. Кое-где царапины и мозоли, темная свинцовая пыль въелась в кожу.

— Зато вы теперь не только можете лежать на плече кавалера в томном вальсе или двумя пальчиками грациозно брать из хрустальной вазы заморские фрукты. Вы теперь сами умеете добывать себе на хлеб и... на эти фрукты.

Приплясывая и кружась, Анюта наконец идет умываться. Ставит чайник на спиртовку. И вот она уже позавтракала. Выходит из дому.

Рядом с ней, впереди, сзади идут такие же девушки, работницы, модистки, продавщицы модных магазинов. И пожилые женщины, и рабочие. Стук каблуков наполняет всю улицу. Слышны разговоры, веселый смех. Все спешат на работу, создавать какие-то предметы, одевать людей в красивые вещи.

Чувство бодрости и безудержной радости охватывает Анюту, чувство коллективизма, товарищества. Вот и она вместе со всеми спешит на полезное дело, и она нужна людям. Анюта напечатает им чудесные книги о любви, о верности, о том, как прекрасна может быть жизнь, если восторжествует справедливость на земном шаре. И хотя работать нелегко, к вечеру она так устает, что иногда не может пошевелить рукой, — кажется, никогда раньше она не была так счастлива.

Недалеко от типографии Анюту нагоняют подружки.

— Как поживаешь, Аннет?

— Какие золотые сны видела сегодня?

Анюта смеясь отвечает подругам.

— Ишь, застрекотали. Солнышко пригрело? — говорит пожилой рабочий, пряча улыбку в усы.

— Смотрите, не забудьте, завтра собрание.

— Не забудем, — отвечают все хором.

Анюта идет к своему рабочему месту. Надевает синий халат. И вот уже под ловкими пальцами укладываются литеры, ставятся шпоны. Никто не узнал бы в этой девушке изнеженную дочь богатого генерала.

После работы Анюта обычно не торопится домой. С момента приезда она неумолимо осматривает парижские достопримечательности. Побывала в картинной галерее Лувра, под величественными сводами Собора Парижской богородицы на острове Сите.

Остров Сите — самая старинная часть города. Здесь когда-то жили рыбаки, лодочники. Недаром эмблема

Парижа — кораблик с серебряными парусами. Под ним надпись: «Качает его, но он не тонет!»

Анюта любит бродить по парижским улицам. На них много зелени. Весна в разгаре. Благоухают акации. И цветы на ветках каштанов стоят как белые свечи.

Она идет по набережной Сены. Воды Сены струятся тихо, медленно, как будто зовут к спокойствию и умеренности живых и пылких французов. По всей длине набережной раскинулись маленькие лотки букинистов, прикрытые от солнца полотняными тентами. Анюта останавливается, перелистывает книги. Здесь же на набережной торгуют белыми пушистыми кроликами, певчими птицами, цветами.

Сколько в Париже цветов! Их продают на каждой улице, на каждом углу. В корзинах, в вазах, в горшках и прямо с тележек. Художественно подобранные большие букеты и скромные маленькие. Искусно выращенные садовником и лесные. Кажется, что тонкий аромат, то пряный, то нежный, легким облаком стоит над городом.

Вот худенькая Мадлен протягивает букетики фиалок. Рядом с девочкой сидит маленькая белая собачонка. Анюта подходит к девочке. Собачонка вскакивает и, умильно виляя хвостом, вертится у ног Анюты.

Анюта всегда покупает цветы у Мадлен. Она знает ее трудную жизнь и часто ведет девочку в кафе недалеко отсюда.

Иногда после работы Анюта отправляется в парк Монсо, расположенный недалеко от их типографии. Здесь она усаживается под развесистым каштаном и читает или пишет свою новую повесть. Она мечтает напечатать ее в России, в журнале «Семейные вечера». Вот и сегодня Анюта расположилась со своим блокнотом. Содержание повести навеяно историей этой девочки, Мадо. Только действие будет происходить в России.

Мадо — сирота. Ее приютили чужие люди. Единственный неизменный друг у нее — Гризи, кудлатая собачонка.

Анюта задумывается. Вдруг кто-то ладонями закрывает ей глаза. Она догадывается, кто это.

— Виктор, оставь, — говорит она.

Да, это, конечно, Виктор Жаклар.

— Так вот где ты скрываешься! Жаклин сказала — ушла в парк. Но в какой? Решил осмотреть все парки города. И вот, видишь, нашел! — улыбается Виктор, садясь рядом.

— Когда людям делать нечего, они себе придумывают головоломки. Я отнюдь не в восторге, что ты, меня отыскал. Не люблю, когда мне мешают.

Жаклар делает вид, что не слышит слов Анюты.

— Ты что-то пишешь? — миролюбиво спрашивает он.

— Угадал.

— Что же это?

— Учись читать по-русски. Тогда поймешь, — смеется Анюта.

Она знает, что Жаклар привык к успеху у девушек, и старается с ним сохранить тон независимый и иронический.

— Брось свои занятия. Хоть на сегодня. Погода такая чудесная. Поедем в Булонский лес, — приглашает Жаклар.

Анюте очень хочется с ним поехать. Но она вдруг подозрительно начинает всматриваться в белое облако, плывущее по краю горизонта.

— Погода вовсе не чудесная. Видишь, вот собираются тучи. Будет дождь.

— Где тучи? Ну, хочешь, я забегу домой, возьму плащ. Поедем, — просительно говорит Виктор.

В конце концов Анюта сдается.

И вот они идут по прекрасному Булонскому лесу. Аллеи сначала широкие, людные. Потом они сменяются

дорожками, тропинками. Вековые могучие деревья тихо шелестят листвой.

Анюта и Виктор выходят на поляну, поросшую цветами, травой.

— Ой, сколько фиалок! — говорит Анюта. — Вот хороши были бы для Мадо!

— И для тебя. Они синие, как твои глаза. Аннет, помнишь нашу первую встречу, там в клубе... Ты тогда тоже была в этом платье...

— Самое старое мое платье, — небрежно говорит Анюта. Но она, конечно, лукавит.

Сейчас Анюта особенно хороша, высокая, стройная. Жаклару кажется, что она вся пронизана солнцем. Солнце исходит от ее золотых волос, от этого белого платья, солнце светится в ее глазах.

— Аннет, с тех пор, как я увидел тебя, ты всегда со мной. И дома, и когда работаю, и когда выступаю на собрании... Аннет, дорогая...

Анюта чувствует, как волнуется Виктор. И она сама... Она сама тоже еще никогда не испытывала такого волнения. Анюта вдруг срывается и бежит по дорожке. Ей так хорошо. Ей кажется, что птицы поют только для нее и деревья протягивают ей свои руки.

— Виктор, догони меня! — кричит задорно Анюта и мчится еще быстрее.

А в Гейдельберге, в доме близ университета по-прежнему часто за полночь светится окно. Теперь уже все знают, что там занимается Софья Ковалевская. «Мы никогда не имели в нашем университете столь одаренного студента и столь трудолюбивого», — говорят между собой профессора. И матери на улице

показывают своим детям: «Вот смотри, пошла та девушка из России. Учись так же прилежно, как она».

— Софа, — говорит Юлия, подняв голову от подушки, — ложись спать. Ты ж заболешь. Вчера так и сегодня...

— Сейчас, Юлка. Эта задача... Я должна найти...

Но иногда Софа весь вечер задумчиво бродит по комнате или лежит на диване и не дотрагивается до своих тетрадей. Глаза у нее при этом такие, что Юлия спрашивает:

— О чем это ты грустишь, Софа?

— Так... Молодость проходит как-то зря. Никто меня по-настоящему никогда не любил.

— Неправда. Я вижу, муж тебя очень любит, — возражает Юлия.

— Может быть. Но больше всего он любит науку. Ему достаточно иметь кишу возле себя и стакан чая — и он уже вполне счастлив.

— Ты несправедлива, ты ревнуешь его к науке. Ты хочешь, чтобы он бросил все и был возле тебя, сама не давая ничего взамен. Тогда ты оставь математику и поезжай к нему в Мюнхен.

— Ой, что ты! — вскакивает Софья. — Ни за что! Математику я никогда не оставлю.

Софья бросается к Юлии, тормошит ее и порывисто обнимает.

Как хорошо иметь возле себя такого верного и умного друга, как Юлия. Всегда-то она найдет нужное слово. Софья теперь не мыслит жизни без Юлии.

— Юлка, — говорит она. — Знаешь о чем я думаю уже давно? Уедем отсюда в Берлин.

— Зачем? — удивленно спрашивает Юлия.

— Поступим там в университет. В Берлине живет великий математик Карл Вейерштрасс. Хочу послушать его лекции.

— Ты совсем как маленькая. Будто ты не знаешь, что в Германии, как в России, женщин в высшие учебные заведения не принимают. Здесь с таким трудом добились... И то — только слушать лекции. Там и этого могут не разрешить.

— Попробуем. Если б ты знала, как я хочу учиться у Вейерштрасса!

— А я так счастлива, что занимаюсь здесь у Бунзена.

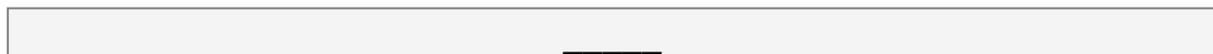
— Я без тебя не поеду. Не могу без тебя, — грустно говорит Софья.

Подперев голову рукой, Юлия смотрит на свою дорогую подружку. Она тоже не может без Софьи. Она любит ее горячо и преданно. Ни в ком Юля не встречала такого сложного характера и противоречивого. Эта худенькая девушка, почти девочка, с коротко стриженными каштановыми волосами, необыкновенно подвижным лицом и глазами, то блестящими и искрящимися, то задумчиво-мечтательными, обладает огромной выдержкой и силой воли и непосредственна, как дитя. Она способна нежно любить друзей и не замечать, как трудно порой им выполнить ее желания. Но не любить ее невозможно. Юлия привязалась к ней еще тогда, когда, собираясь с мужем в Гейдельберг и зная, как горячо Юля хочет учиться, Софья специально приехала к ней, малознакомой, в Москву — уговаривать родителей отпустить ее за границу. Только настойчивость и страстность Софьи помогли Юле вырваться из родительского плена.

— Если ты так хочешь... — говорит Юлия. — Но давай хоть кончим семестр.

Софья просияла.

— Ура! Ты согласна! Конечно же, кончим. Я еще на каникулы съезжу в Париж, к Анюте.



Русская секция уже имела свою типографию — две небольшие комнаты на улице Монбрильян, 8. Но это неважно, что типография была маленькой. Главное было то, что теперь журнал «Народное дело» безраздельно принадлежал Русской секции.

На одном из заседаний Бакунину, который входил в редакцию, был дан жестокий бой. Взгляды членов Русской секции ни в чем не сходились со взглядами Бакунина. Проповедовать анархию, безвластие, стихийные бунты — это значило играть на руку врагам. Для победы революции нужна была строгая дисциплина, политическая сознательность и, в конечном итоге, диктатура пролетариата. Русская секция в этом вопросе понимала и поддерживала Маркса.

Бакунин же прикидывался другом Маркса, вошел в Интернационал, а вместе с тем создал тайное общество «Альянс», которое действовало против Интернационала. Анархисты хотели расколоть Интернационал.

Члены Русской секции везде, где могли, разоблачали двурушничество Бакунина. Бакунин был вынужден выйти из редакции «Народного дела».

Русская секция напечатала в «Народном деле» свою программу и устав, объявила о начале своей работы, о том, что она является секцией Интернационала.

Они сами были корреспондентами, редакторами и наборщиками. Старались, чтобы журнал выходил регулярно. Они пристально следили за всеми событиями в России, они всей душой были там, на родине, освещали дела на Западе, помогали советами.

Они хотели, чтобы их журнал будил людей, бил в набат, как раньше «Колокол», — теперь уже «Колокол» не выходил и Герцена не было в живых.

Когда вспыхнули студенческие волнения в России, Русская секция сейчас же откликнулась.

— Снова переселяют студентов в Петропавловскую крепость. Теперь слишком большой перечень высших

учебных заведений придется составлять на стене. А закончить этот список рабочими-стачечниками. В России — стачки! Не замечательно ли?! — ликовал Утин.

«И теперь, как в 1861 году, молодежь хотела учиться и не чахнуть с голоду, и теперь, как и тогда, опять подымается самый грозный вопрос, общечеловеческий вопрос всемирного пролетариата, требующего знания и хлеба; вопрос, который, когда его не удовлетворяют и преследуют, затрагивает решительно все живые, насущные интересы и способен не остановиться ни перед какими угрозами борьбы и битвы!» — писало «Народное дело».

«...Или благородное общество воображает, что кары и лишения, заключения и ссылки могут проходить безнаказанно, не вызывая мщения, не зовя людей на борьбу против «виновников всех смут и волнений», то есть правительственной власти?»

«Каково бы ни было наше осуждение, мы завтра будем делать то же самое, что делали и сегодня; в этом нами руководит не ненависть, не дух возмущения, а сознание нашего права. Мы отныне имеем притязание сами управлять всеми нашими делами; и у нас только осталось одно средство выйти из несносного положения — это нарушать законы, чтобы вы знали, что то — негодные законы!..»

Это были смелые мысли, смелые слова, отмщение за издевательство над студентами и грозное предупреждение царской власти.

Дальше «Народное дело» писало о всемирном рабочем движении, о делах Международного товарищества.

«Надо ли говорить, что все симпатии современного честного и развитого человека должны тяготеть к интересам рабочих масс: в них весь смысл, вся сила настоящего прогрессивного движения... в них все элементы и задатки нового быта... Роль пролетариата —

освободить одних людей от привилегии только трудиться, а других — только наслаждаться!»

Русская секция призвала понять значение пролетариата в истории. Ее выступления на страницах «Народного дела» отражали боевой дух Интернационала.

Всеми возможными способами члены секции старались пересылать «Народное дело» в Россию, чтобы их журнал проникал во все уголки страны. Это, конечно, трудно, охранка не дремлет, но нужно искать пути — для удобства журнал уменьшен в формате.

Однако им во всем опять мешают анархисты с Бакуниным во главе.

Русская секция готовится дать Бакунину бой. Об этом они написали Карлу Марксу. И еще — они просили разрешения у Маркса прислать в Лондон кого-либо из своих членов, чтобы поговорить, обрисовать положение секции, посоветоваться, познакомиться с рабочим вопросом в Англии.

Снова с нетерпением они ждут на свое письмо ответа.

ГЛАВА XXIV

Вот и наступили каникулы. Наконец-то Софья Ковалевская может поехать к своей Анюте. Поезд подходит к Восточному вокзалу. Сияющая Софа выходит на платформу. Еще из окна она увидела Анюту. Сестры обнялись.

— Как ты похорошела! — говорит Софья, глядя на Анюту.

— Это, наверно, парижский воздух так действует, — улыбается Анюта и подводит Софью к высокому красивому brunetu с круглой бородкой.

— Софа, знакомься. Шарль Виктор Жаклар, мой муж. Софья широко открывает глаза.

— Ты... замужем? Что ж не писала?

— Хотела лично представить, — лукаво говорит Анюта. А глаза ее сияют.

Жаклар подхватывает чемодан Софьи, и втроем они садятся в омнибус и едут в Латинский квартал, где живет сестра с мужем. По довольно темной и грязной лестнице поднимаются на пятый этаж. Здесь Жаклары снимают две недорогие меблированные комнаты.

Анюта накрывает на стол, подает закуски. Виктор торжественно вносит кипящий самовар.

— Вот подготовил вам! Пить чай по-русски, — горделиво говорит он Софье.

Анюта смеется.

— Никак не научу его правильно говорить. Бегал по магазинам, искал для тебя самовар.

Софье сразу вспоминается Палибино, уютная угловая гостиная и вечерний чай за круглым столом.

— Когда же ты напишешь родителям о своем замужестве?

— Не знаю. Но написать надо, сначала как-то их подготовить.

— Ты по-прежнему работаешь?

— Конечно. Я — в типографии, а Виктор дает уроки. Раньше он сотрудничал в газетах, журналах. Но с тех пор, как он сидел в тюрьме за участие в демонстрации, ему стало трудно печататься.

— Ничего. Скоро будет наша власть, народная. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Вот в чем сила, — говорит Жаклар.

— Виктор — член Интернационала. А я еще об этом только мечтаю. Но я тоже помогаю Виктору в пропаганде. Каждую неделю у нас собираются друзья. Играем на гитаре, поем. Однако это, ты понимаешь, одна видимость. На самом деле это политический кружок. У нас бывает Поль Лафарг, друг Виктора еще по университету. Замечательный человек, философ. Недавно я познакомилась с его женой Лаурой, дочерью Маркса. Она тоже обаятельная, умная женщина.

— Хорошо, что у вас такая ясная цель в жизни и благородная. Знаешь, Анюта, я иногда начинаю сомневаться. Правильно ли я делаю, что все силы отдаю математике. Может быть, сначала нужно было всем стать в ряды революционеров, добиться лучшей жизни для народа, а потом уже развивать науку. Каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства.

— Это трудный вопрос, Софа.

— А я думаю, вы поступили правильно, — говорит Виктор. — Способности, талант зарывать в землю нельзя. Ведь потом, когда будет народная власть, все это — открытия, изобретения — станут достоянием народа.

— Недавно я получила письмо от Жанны из Лейпцига, — говорит Софья. — Все-таки она добилась своего. Никак ведь не принимали, целый год она ходила, просила. Наконец дошла до самого короля. Тот велел ей

учинить экзамен в его присутствии. И что же ты думаешь! Жанна блестяще ответила на все вопросы. И теперь высочайшим повелением зачислена в университет. Неслыханное дело! Первая женщина-юрист. Пишет: «Немчики пялят на меня глаза, но я держусь стойко».

— Молодец Жанна! Я знала, что она добьется. А мне писала Лиза Томановская. Настроение у нее бодрое, боевое. Там ведь, в Женеве, они организовали Русскую секцию Интернационала.

После чая Жаклар куда-то уходит. Сестры остаются одни. Они усаживаются, как когда-то в Палибине, с ногами на диван.

— Анята, ты довольна? — спрашивает Софья, заглядывая сестре в глаза.

— Очень. Всей жизнью. И... я так люблю Виктора, — отвечает Анята.

Всем существом Софья чувствует, как счастлива сестра, и ей вдруг становится грустно. Может быть, потому, что она в чем-то теряет свою Аняту, которая ей дороже всех на свете, которую она называет своей «духовной мамой». Или, может быть, потому, что она сама никогда так не была счастлива.

Но Софья гонит эти мысли прочь.

— Я рада за тебя, — тихо говорит она сестре. — Счастье... Как синяя птица... Прилетает не ко всем. Береги ее.

— Полно. Что ты так... — Анята привлекает Софу к себе и, как в детстве, взъерошивает ей волосы.

— Сурок, ты жив? — спрашивает она.

Софа смотрит на Аняту.

— Жив-жив! — отвечает она, тоже как в детстве, и милая ясная улыбка освещает ее лицо. — Жив-жив, пока ты возле меня. Не бросай меня никогда...

— Знаешь, Анята, — говорит, помолчав, Софа, — я мечтаю попасть в Берлин, учиться у великого

Вейерштрасса. Как ты смотришь на это?

— Если задумала, надо добиваться. Обязательно поезжай. А то потом не простишь себе.

Антон Данилович Трусов стоит у наборной кассы, щипчиками вытаскивает свинцовые столбики-буквы из лежащего на доске набора и заменяет их новыми. Он корректирует только что сделанный набор.

Лиза вместе с Наташей переводят на русский язык полученные сообщения из Парижа.

Катя просматривает отпечатанные экземпляры «Народного дела».

Здесь же, на краю стола примостился Утин. Он читает письмо, которое привез «свой» человек от Константина Игнатьевича Крупского. Крупский — революционно настроенный офицер, Утин его хорошо знает. Он пишет о жизни рабочих, о начавшихся волнениях среди них, приводит статистические данные. Как дороги и нужны такие письма Русской секции! И сколько надо иметь мужества, чтобы их посылать! Ведь это грозит большими неприятностями, если будет раскрыто.

Утин перечитывает еще раз строки письма. Он уже обдумывает статью для «Народного дела».

В типографию входит Беккер. Он заметно постарел за последние годы, но глаза блестят по-прежнему молодо.

Его встречают радостными возгласами. Для него сейчас же освобождают один из табуретов — стульев в типографии не имеется. Но Беккер не торопится садиться, он первый раз пришел в типографию своих русских друзей, осматривает наборные кассы, оттиски, качает головой. Оттиски плохие, буквы неясные. На полу

в углу грудой свалены уже отпечатанные, но негодные листы.

— Так не пойдет, — ворчит Беккер. — Надо посмотреть в чем дело, почистить машину. Я помогу вам, давайте займемся.

Он не хочет слушать никаких возражений и тут же, сбросив пиджак и засучив рукава рубашки, начинает вместе с Трусовым разбирать машину. И, только окончив работу, усаживается на табуретку и, хитро прищурившись, говорит:

— А я к вам пришел неспроста. Есть приятные вести.

— Какие? — восклицают все в один голос.

— А вот! Письмо от нашего Карла. Он горячо приветствует ваше желание разоблачить Бакунина.

Беккер достает из бокового кармана конверт и вынимает письмо, написанное теперь уже всем знакомым, неразборчивым, но твердым почерком.

«...Я получил письмо от русских друзей в Женеве. Передай им от меня за него благодарность.

В самом деле, лучше было бы, если бы они написали брошюру о Бакунине, но это надо сделать в ближайшее время. Если это будет сделано, то им не надо присылать мне дальнейших документов о происках Бакунина... Скажи русским друзьям... что я буду очень рад, если кто-нибудь из них приедет сюда...»

Письмо заканчивалось советом, какие меры нужно принять, чтобы пресечь раскольническую деятельность Бакунина и создать нормальную обстановку для работы Русской секции.

— Единство и еще раз единство. Так думает и Карл, — говорит Беккер. — Единство и сплоченность всех швейцарских секций Интернационала. У нас очень сильные секции, и мы поможем вам.

— Спасибо! — Утин с чувством пожимает руку Беккеру. — А брошюру мы напишем, и в ближайшее же время.

— Бакунин собирается выступить на диспуте, — говорит Трусов. — Я об этом слышал вчера в кафе.

— Нам нужно побывать на нем, — замечает Наташа.

— Не только побывать, но и выступить, — добавляет Катя.

— Может быть, не стоит связываться. Мы его сумеем хорошо показать в брошюре. А здесь, на диспуте, попросту может произойти драка. Они ведь не считаются ни с какими средствами, — говорит вошедший Бартенев.

— Мне кажется, все равно выступить надо. Принять бой в открытую, как бы нас ни было мало, — горячо говорит Лиза.

Беккер тепло посмотрел на Лизу. Как ему был знаком этот задор! Тогда, в революцию 1848 года, и потом, позже, он тоже старался быть впереди, тоже открыто принять бой. В Бадене он командовал отрядом повстанцев. А рядом с ним, в другом отряде, сражался Фридрих Энгельс. Энгельс и познакомил его с Марксом.

— Я поддерживаю мадемуазель Элизу, — сказал старый друг Маркса и Энгельса. — Не только брошюру, но и бой в открытую. Изложить свои взгляды, раскрыть вероломство Бакунина. Показать, к чему может привести авантюризм и анархия, сколько это будет стоить жизней. Это привлечет многие сердца, которые колеблются и которые просто заблуждаются. Это укрепит влияние Интернационала.

ГЛАВА XXV

Возле кафе Грессо толпился народ. Огромные цветные афиши возвещали миру: сегодня в 6 часов состоится диспут, на котором выступит знаменитый Бакунин. Это были как цирковые анонсы. Бакунин изображался то беглым каторжником, рвущим цепи, то богом разрушения, то узником Алексеевского рavelина, то философом.

Люди спешили в кафе. Шли солидные седые старожилы города, шла молодежь, любители разных диспутов, шли служащие, ремесленники. Шли члены секций Интернационала. Шли почитатели Бакунина.

Лиза, Утины, Бартеневы, вся Русская секция и их друзья заняли несколько столиков рядом и заказали закуски.

Кафе наполнялось. Уже трудно было найти свободное место.

Какой-то высокий поджарый человек в пенсне взошел на эстраду и сказал:

— Внимание! Мы начинаем. Предоставляем слово Михаилу Александровичу Бакунину.

— Бакунин!

— Просим!

— Бакунин!

— Bravo! — слышалось со всех сторон.

В проходе между столиками показался Бакунин. Он шел крупными шагами, не торопясь, высоко подняв голову. Серый костюм в клеточку сидел на нем мешковато. Из-под него виднелась фланелевая фуфайка. На голове была войлочная шляпа.

В разных концах зала раздались аплодисменты.

Бакунин поднялся на трибуну. Снял шляпу и положил ее рядом. Длинные всклокоченные волосы

торчали на голове во все стороны.

Бакунин немного выждал и сказал зычным голосом:

— Господа! Друзья! Мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить об устройстве мира. Мир устроен плохо. Это понимает каждый мальчишка, который не имеет не только масла на хлеб, но и самого хлеба. Мир должен быть переустроен. А для этого его нужно разрушить. Да, разрушить! Совсем. Все превратить в обломки! В пустое место!

— Правильно! Bravo! — слышалось в зале.

Утин и его друзья сидели молча. Надо послушать, что еще скажет великий разрушитель. Потом собирался выступить Утин. Однако они все понимали, что это будет не так легко — бороться с Бакуниным.

А Бакунин уже не говорил, а гремел с трибуны:

— Огнем и мечом все уничтожить! Не оставить камня на камне! Я всегда утверждал и буду утверждать: страсть к разрушению — творческая страсть!

Вот у нас создано Международное товарищество рабочих. Мы не против него. Но мы говорим: нам дороже всего свобода личности. Мы, анархисты, не признаем никакой власти, никакого насилия над личностью. Личность должна иметь возможность делать, что ей угодно! И потом — зачем обучать людей разным политическим канонам? Это долгий и неверный путь. Народ умнее нас с вами. Нужно только бросить клич — и он восстанет. И сметет все на своем пути.

Я призываю к бунту! К восстанию! Русский разбойник с большой дороги — вот с кого нужно брать пример. Потому что именно он, разбойник, смел и неудержим. Именно он все разрушит и установит свободу личности.

В зале снова зааплодировали.

А Бакунин продолжал:

— Я сидел в тюрьмах много лет. На моих руках следы кандалов. Я бежал из Сибири в Америку. Кто помог мне? Русский разбойник!

Друзья! Я призываю вас к разрушению. Долой всякое государство! Долой всякую власть! Уничтожайте врагов, угнетающих личность! Да здравствует свобода личности!

Зал аплодировал. Кто-то вскочил. Какая-то женщина бросила Бакунину цветы. Люди явно были увлечены речью Бакунина. Бунтарство, разрушение мира — это выглядело грандиозно и величественно. Зачем раздумывать и ждать, заниматься политическим обучением. Надо действовать!

Удастся ли членам Интернационала разъяснить, повернуть симпатии людей на свою сторону?

Лиза сидела рядом с Катей. Она крепко сжала Катину руку. Пальцы ее были холодны. Она чувствовала, нужно что-то сделать.

Сейчас или никогда!

Лиза вдруг встала и пошла к эстраде. Ее подтянутая, грациозная фигурка плавно скользила между столиками. Черные волосы оттеняли бледность лица.

Легко взбежав по ступенькам, Лиза на миг остановилась, прямо взглянув в зал. Потом подбоченилась, чуть прищурилась в улыбке и пошла плясать, поворачиваясь то вправо, то влево.

Зал в недоумении смотрел на девушку.

— Что здесь происходит? — растерянно спросил Бакунин. — Я ведь еще не кончил... Кто разрешил?!

Лиза остановилась, сделала невинное лицо.

— Вы разрешили! — сказала она.

— Я? Но, мадемуазель...

— Да, вы, вы! Вы же призываете к анархии. Никакой власти, никакого порядка. Что хочу, то и делаю. Вы хотите говорить, а я хочу плясать.

И, повернувшись к Бакунину спиной, Лиза пошла по кругу, дробно постукивая каблучками.

В зале поднялся невообразимый гам. Люди повскакали с мест, стучали ногами, чайными ложками по

посуде. Кто-то смеялся, хлопал в ладоши, кто-то свистел, улюлюкал. Одни кричали: «Бакунин!», другие: «Браво, мадемуазель!»

Перекрывая шум своим громовым басом, Бакунин пророкотал:

— Уберите ее! Или я, или она!..

Лиза перестала плясать.

— Хорошо, — сказала она. — Давайте поговорим серьезно. Вы помните выступление крестьян в русском селе Бездна? Об этом знает весь мир. Скажите, сколько было загублено тогда жизнью? А почему? Потому что крестьяне не были подготовлены. Это был как раз такой бунт, к какому вы призываете! А Ла-Виллет! А Лион!

Зал притих. У всех еще свежи были в памяти кровавые события недавнего времени в Париже, на бульваре Ла-Виллет, и в Лионе, когда анархисты во главе с Бакуниным организовали мятеж и сотни людей были расстреляны и брошены в тюрьмы.



Бакунин пытался что-то сказать, но Лиза властным жестом остановила его.

— Везде и всюду вы изображаете себя мучеником. Сидели в казематах. Были сосланы. Но разве вы одни? Вот теперь вы на свободе. А наш Чернышевский до сих пор в кандалах на каторге. И так ли тяжела была вам ссылка под крылышком своего дяди, генерал-губернатора Сибири?

Бакунин побледнел.

— Вы не имеете права...

— Нет, имею. Потому что ваше учение приносит гибель людям...

— Ну, что ж, говорите вы. Я не собираюсь с вами полемизировать... — Бакунин схватил шляпу и, стараясь

все же сохранить величавость, сошел с трибуны и вышел в боковую дверь.

Лиза поднялась на трибуну.

— Прошу вас выслушать меня, — сказала она. — Шесть лет тому назад произошло величайшее событие: трудящиеся всех наций объединились в свое общество. Имя этому обществу — Интернационал.

С тех пор Интернационал вырос и окреп. Он завоевал всеобщую любовь. Все новые силы вливаются в Интернационал.

Интернационал борется за права трудящихся и одерживает победы.

Я напомним о стачках в Женеве, и в Лионе, и в Ливерпуле, и в Лондоне. Что дает нам силы? Политическая сознательность и единство.

А кто мешает нам? Анархисты. Они против повышения политической сознательности и против единения. Они мешают Генеральному совету во всех его начинаниях. Они хотят, чтобы каждая секция в Интернационале и каждая личность в секции действовали как им вздумается. Но разве это возможно? Тогда будет шатание и разброд. Мы потеряем свою силу.

Они хотят разрушить Интернационал. Они действуют в угоду буржуазии. Ибо буржуазии выгодны путчи и мятежи, когда трудящиеся расплачиваются своей кровью. Буржуазии выгодны разброд и шатания. Буржуазии выгодны нападки на Маркса и Генеральный совет.

Так дадим же отпор врагам нашим, анархистам. Да здравствует единение и сплоченность! Да здравствует грядущая революция!

Да здравствует Интернационал! «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Лиза смолкла. В зале стояла тишина. И вдруг шквалом пронесли аплодисменты.

— Ура!

— Да здравствует Генеральный совет!

— Долой анархистов!

— Да здравствует Интернационал!

В этих криках тонули несколько жалких возгласов сторонников Бакунина.

Лиза сошла с трибуны. Ее окружила толпа. Совсем незнакомые люди поздравляли ее, пожимали ей руки. Катя, Наташа и Оля бросились ее обнимать.

Утин улыбался и говорил:

— Не ожидал, вот не ожидал. Так вы еще, оказывается, и артистка...

А старый Беккер подошел к ней, по-отечески поцеловал ее в лоб и, смеясь, сказал:

— Умница! Такой радости я не испытывал давно. И давно так не смеялся, как сегодня. Я напишу нашему Карлу.

Через несколько дней члены Русской секции опять собрались в кафе, в своей излюбленной боковой комнате. Надо потолковать, подумать. Из России приходят порой неутешительные вести.

Не все понимают цели и задачи Русской секции, значение Интернационала. Считают, что Россия должна идти своим путем. Ей незачем присматриваться к методам борьбы на Западе.

Нужно кому-то ехать в Россию. Поговорить с молодежью, разъяснить, выступить в кружках.

Живое слово — великая сила. Оно скорее доходит до сердца.

Николай Утин смотрит на свою гвардию, на своих бойцов, вот они все собрались здесь. Кому же ехать в Россию? Он знает, что никто не откажется, даже если это будет сопряжено с риском для жизни.

Хорошо бы поехать Томановской. Но она очень горячая, а там нужна большая осмотрительность. И потом, в отношении Лизы есть другие планы — ее нужно послать к Марксу.

Прекрасно справилась бы с этой задачей Екатерина Бартенева. Ей даже скорее, чем кому-либо, можно доверить это дело.

Катя спокойная и осторожная. Она умеет убеждать и твердо отстаивать свои взгляды...

— Мне очень хотелось бы, чтобы в Россию поехала Екатерина Григорьевна, — сказал Утин. — Она была бы там очень полезна. Но у нее семья, маленькие дети... — и он посмотрел на Бартеневу.

Катя встает. Она, как всегда, подтянута и спокойна.

— Это меня не остановит, — говорит она. — Для нас для всех прежде всего должно быть дело революции. Иначе для чего было организовывать секцию?

— Я знал, что вы так ответите, — сказал Николай Исаакович.

— Поезжай спокойно, Катя. Мы все посмотрим за твоими малышами, — добавила Наташа.

В Россию поехала Катя.

А через некоторое время и Лиза начала собираться в путь.

«Дорогой гражданин!

Разрешите в этом письме горячо рекомендовать Вам нашего лучшего друга, г-жу Элизу Томановскую, искренне и серьезно преданную революционному делу в России. Мы будем счастливы, если при ее посредничестве нам удастся ближе познакомиться с Вами и в то же время более подробно осведомить Вас о нашем положении, которое она Вам сможет обстоятельно обрисовать.

...От нас потребуется еще немало усилий, чтобы водрузить и укрепить наше общее знамя в России. Однако, мы нисколько не сомневаемся в успешном осуществлении поставленной задачи...

Г-жа Элиза напишет нам обо всем, что Вы найдете нужным сообщить, а по возвращении расскажет о том,

какое впечатление произвели на нее при более близком знакомстве организации рабочих союзов и политическая и общественная жизнь Англии, и даст нам все сведения об этом. Мы уверены, что Вы своими советами и ценными указаниями поможете ей в изучении этих вопросов, и заранее благодарим Вас за это; помогая ей в ее занятиях, Вы тем самым помогаете всем нам.

Примите, дорогой гражданин, наш братский привет».

Так писали Марксу члены Русской секции. С этим письмом Лиза уехала в Лондон.

ГЛАВА XXVI

Смуглая, по последней моде одетая женщина, шурша платьем, входит в таможенную комнату. Вслед за ней идет носильщик с двумя чемоданами и какими-то картонками и коробками. Здесь, за большими столами, властвуют жандармы и таможенные чиновники.

— Как фамилия? — спрашивает жандармский офицер.

— Бартенева.

Офицер достает паспорт из стопки, лежащей на столе. Эти паспорта были собраны у пассажиров еще на подъезде к пограничной станции.

— Откройте чемоданы. Зачем выезжали в Швейцарию?

Женщина пожала плечами. Рассмеялась беспечно, сверкнув ровным рядом белоснежных зубов.

— Пленилась красотами Женевского озера. Столько слышала рассказов...

— С какой целью теперь следуете в Россию?

— Соскучилась, господин офицер. Родина... Воспоминания детства... Наконец, родственники... Впрочем, и дела... У меня имения в Костромской и Тульской губерниях. Мой дед, генерал-губернатор Восточной Сибири Броневский... Ах, прошу вас, пожалуйста, не помните, — обращается она с обворожительной улыбкой к таможенному чиновнику. — Здесь все только из Парижа. Эти платья от мадам Жюстин. А шляпа такого фасона взяла на выставке первый приз... Я везу ее показать в России. Так могут сделать только в Париже. И страусовые перья... Они всегда являются лучшим украшением...

«У женщин одно на уме, — думает офицер. — Коробки, картонки. Черт знает, сколько эта барынька

везет с собой женских сокровищ. Однако внука генерала...»

— Вы свободны, — говорит офицер учтиво, делая знак таможенному чиновнику. — Прошу, проходите сюда.

Бартенева берет протянутый паспорт.

— Мерси.

Носильщик подхватывает чемоданы.

— Вызывай следующего, — говорит офицер унтеру, стоящему у двери.

Бартенева выходит на платформу. Отсюда уже можно садиться в русский поезд. Быстрым взглядом Катя окидывает все вокруг. Сколько здесь полицейских мундиров! Возвратилась в родную матушку-Русь. Так странно это видеть после гражданственной Швейцарии — там и военные в свободное от службы время предпочитают быть в штатской одежде.

Катя заходит в вагон. И вот поезд трогается. Побежали перед окном луга, перелески, деревушки, белая березовая рощица, освещенная солнцем. Катя смотрит на березки и чувствует радость, как при свидании с другом после долгой разлуки. Родные места, знакомые картины. Она едет домой, в Россию, и, несмотря ни на какие синие мундиры, сердце сладко замирает от счастья.

— Вы надолго к родным пенатам? — слышит она голос соседа по купе.

Катя оборачивается.

— Как поживется, — говорит она уклончиво, пожимая плечами.

А сама краем глаза наблюдает за попутчиком. Уж не шпион ли? Надо быть осторожней. В чемоданах, под «парижскими» платьями мифической мадам Жюстин сделано двойное дно. Там плотно уложены номера «Народного дела». Их ждут в России. С их помощью Катя должна разъяснить идеи и задачи Интернационала. И

увлечь молодежь на тот путь, который им всем, членам Русской секции, кажется единственно правильным.

Поезд подходит к Петербургу. Бартенева нанимает извозчика и едет к родственникам, к сенатору Гизетти. Этот дом вне всяких подозрений. Потом она снимет комнату.

На другой день Бартенева, в своем обычном скромном платье с белым воротничком, подходила к дому в Кушелевке. Здесь студенческая коммуна. Но, Катя знает, эту молодежь объединяет не только общая крыша, но и общие идеи. Здесь живут революционно настроенные юноши и девушки. Они устраивают кружки самообразования, распространяют полезные книги, ведут пропаганду среди народа, каждую минуту рискуя за это заплатить своей свободой и даже жизнью.

Ей долго не открывали. Она не знала условных звонков, и, может быть, ее рассматривали из окна.

Наконец дверь отворилась. На пороге стоял Натансон. Бартенева знала его еще до отъезда за границу. Он — студент Медико-хирургической академии, энергичный, волевой.

— Как хорошо, что вы приехали, Екатерина Григорьевна. Входите. Я имел сведения, что вы собираетесь в Россию, — говорит Натансон. — У нас здесь сегодня друзья, рабочие с металлического завода, с фабрики Торнтонна. Мы занимаемся с ними грамотой и арифметикой.

По случаю прихода Бартеневой занятия отменяются. Все собираются в общий зал — большую комнату, где происходят иногда лекции, диспуты, чтение интересных книг.

Катю окружают. Среди студенческих блуз она видит рабочие куртки. Кое-кто ее знает, с ней здороваются. Ее атакуют вопросами.

— Надолго ли в Россию?

— Сколько человек в Русской секции?

— Привезли «Народное дело»?

Катя вынимает из саквояжа несколько экземпляров журнала. Их тотчас расхватывают, передают друг другу.

— Надо попробовать перепечатать.

— Если не выйдет, перепишем.

Но вот Натансон говорит:

— Екатерина Григорьевна, может быть, вы нам расскажете обо всем поподробней?

Катя устраивается за столом, остальные садятся на стулья, на подоконники.

«Человек тридцать здесь», — думает Катя.

Она начинает разговор с того, как несправедливо устроено человеческое общество. Говорит об организации Международного товарищества рабочих, рассказывает о Русской секции, о спорах с Бакуниным, о представительстве Маркса и о женевской стачке.

— Мы себя тоже можем поздравить. И в России начинаются стачки. Вот недавно, в мае, здесь у вас в Петербурге произошла стачка на Невской бумагопрядильной фабрике. Мы слышали, в ней участвовало более восьмисот рабочих. Это событие огромной важности. Может быть, тут присутствуют с этой фабрики?

— Есть! — сказал сидящий у окна пожилой мужчина с впалой грудью чахоточного.

— Я тоже! — откликнулся молодой круглолицый парень, стриженный в скобку.

— Так вот, я спрашиваю вас и всех, кто здесь находится, — Бартенева посмотрела в зал. — Всегда ли знали рабочие во время стачки, что нужно им делать, как разговаривать с хозяином, чего добиваться? И знают ли рабочие других фабрик и крестьяне в деревнях?

Бартенева говорит о том, что борьба должна вестись сознательно.

— Политическая пропаганда, изучение опыта других стран, создание интернациональных секций и

вступление в Международное товарищество рабочих — вот наши задачи! «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — в этом заложен глубокий смысл.

Высокий белокурый молодой человек с тонкой, как у девушки, талией говорил сразу после Бартеневой. Он вышел вперед, закинув голову. Голубые, чуть навывкате глаза его смотрели куда-то поверх собравшихся.

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина, —

продекламировал он нараспев, картинным жестом выбросив вперед руку.

— Там вековая тишина! — повторил он еще раз, подняв палец. — Мы слушали здесь очень интересные и приятные речи. Екатерина Григорьевна все очень хорошо и обстоятельно рассказала. И про секцию, и про Международное товарищество рабочих. Но я спрашиваю: зачем это все нам?

Белокурый молодой человек остановился, выждал. Он говорил размеренно, гладко, — видно, привык выступать. Во всей его позе было даже что-то артистическое, он то с улыбкой обращался к Бартеневой, то как бы раскланивался.

— Так вот, зачем это нам надобно? Россия идет своим путем, отличным от пути Запада. У них капитализм, много рабочих, так называемых пролетариев, им и надо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Ну и пусть соединяются. А нам зачем? У нас страна крестьянская, лапотная. Мужиков поднимать надо. Бить в набат! Будить! Чтобы всколыхнуть вековую тишину. Во глубине России — вот где наша сила! А пролетарии — это дело не наше.

Во все время, пока говорил высокий студент, Натансон нетерпеливо ерзал на стуле, ерошил волосы, что-то писал на бумажке. Он сразу вскочил, как только студент кончил. Кивком головы отбросив со лба черные пряди, он заговорил быстро и горячо.

— Неверно! Так рассуждать нельзя! Разве у нас нет пролетариата? Он есть! И хотя его еще мало, но фабрики и заводы все время растут. Вспомните, сколько их появилось у нас в Петербурге за последние десять-пятнадцать лет! Завод Макферсона — раз, Семянниковский — два, Резиновая мануфактура, Металлический завод, Обуховский...

— Завод Лесснера, Нобеля, — говорит кто-то с места.

— Патронный завод, «Феникс» на Выборгской стороне, — добавляет еще кто-то.

— Вот видите! И в России развивается промышленность. Мы не можем не замечать этого факта. А как живут рабочие? Ужасно. Все мы помним книгу Флеровского «Положение рабочего класса в России», которую недавно читали вслух в этом же зале. Какой мы видим выход? Нужно организовывать рабочих, подготавливать их политически...

— Все-таки крестьян в стране большинство, и нужно думать прежде всего о крестьянах, — вставляет белокурый молодой человек. — Общину укреплять — вот что!

— О крестьянах мы думаем и будем думать. В деревнях нужно вести пропаганду. И укреплять общину. Но и в городе мы должны работать.

Встает молодой рабочий.

— Я здесь слушал господина студента. Он не признает нас, рабочих. Что ж! Значит, плохо еще всматривается в то, что делается вокруг. И на фабриках, видно, никогда не бывал. Пусть придет хоть к нам, на фабрику Торнтонна. Сколько мы работаем? С пяти утра до восьми вечера. А сколько за это получаем? Семьдесят

копеек. Наши жены и дети мучаются на фабрике рядом с нами. От хлопковой пыли ничего не видно, дышать нечем. Глохнем от грохота машин. Жара такая... Да что говорить! Пусть зайдет в наши бараки. Нар настроено в три этажа, да еще спят на полу под нарами. А за каждую вину и не вину получай штраф или битые плетью. Хорошо живем?

Рабочий говорил просто, уверенно. Чуть прищуренные серые глаза его смотрели спокойно. Ладонью руки он иногда рубил воздух, как бы ставя после фраз точки.

— Была стачка и будут еще. Правильно здесь сказали, надо всем вместе, гамузом. Так-то, может, что и получится, — закончил он.

После рабочего говорили другие. О том, что интеллигенция является неоплатным должником народа. Веками за счет народа учились, приобщались к культуре. Пора оплачивать долг. Все силы отдать на освобождение народа. Если нужно — бросать университеты и идти на фабрики, заводы, в деревни, чтобы готовить народ к великой битве.

Некоторые стояли на бакунинских позициях — народ нечему учить, надо немедленно призывать к восстанию.

Выступили все, кто присутствовал на собрании. Равнодушных не было.

Бартенева слушала и удивлялась. Удивлялась тому, как говорят рабочие. Там, в Женеве, она привыкла, что они могут выступать не хуже людей интеллигентных. Но здесь, в России... Еще совсем недавно это были забитые люди. А теперь... Они говорят так разумно, с такой страстностью, рассуждают о классовой борьбе, о коллективизме... Это ли не показатель силы пролетариата! Их учит сама жизнь. А если к тому же пропаганда...

Бартенева выступила еще раз.

— Маркс писал нам о том, что наша страна тоже начинает участвовать в общем движении века. Это очень верно. Это видно из сегодняшних высказываний. Русская секция придает большое значение пропаганде в деревне. Мы считаем, что земля — общее достояние человечества и должна принадлежать всем. Но нельзя не видеть рабочих, пролетариата. Пролетариат растет. Пролетариат на Западе уже сила. Мы должны помочь нашим рабочим стать тоже силой. И войти в Интернационал. Только так мы сможем сбросить царизм.

Собрание закончилось поздно. Расходились по двое, по одному. Натансон пошел провожать Екатерину Григорьевну.

Было темно и влажно после только что прошедшего дождя. Ноги мягко ступали по прибитой пыли.

Натансон стал вполголоса рассказывать Бартеневой о том, как они организуют студенческие библиотеки, как достают по дешевым ценам книги.

— Думаем открыть свое издательство. Не знаем, выйдет ли. Положим, денег мы наскребем. Но за последнее время нас сильно тревожат. Некоторые книги конфискованы и сожжены.

— Хорошо было бы еще получить «Народное дело», — шепотом сказал Натансон. — Уж мы спрячем его так... Оно нужно для пропаганды здесь, в Петербурге, и чтобы разослать в другие города.

— «Народное дело», если все обойдется благополучно, мы скоро будем иметь еще. А собираете ли вы сведения о рабочих? — спросила Бартенева. — Необходимо изучать жизнь рабочих, знать факты. Это поможет при беседах, в статьях, которые мы ждем от вас для «Народного дела». И надо начать подбирать людей для создания секции Интернационала.

Они условились о новой встрече. И о том, что Натансон подыщет Бартеневой надежную и удобную комнату.

В Париже над Жакларами сгущались тучи. В июле 1870 года правительством был возбужден процесс против многих членов Интернационала. Их обвиняли в заговоре с целью ниспровержения империи. Жаклар был в числе привлеченных к процессу. Ему снова грозила тюрьма.

— Виктор, надо бежать из Парижа и как можно скорее, — говорит Аня.

Виктор молчит. Он не хочет покидать родину. Но Аня настаивает.

— Ты должен сохранить себя. Твоя жизнь нужна не только мне. Поедем в Швейцарию. Так будет разумнее.

Да, так разумнее. То же самое ему сказали в секции Интернационала. В конце концов Виктор согласился.

Жаклары быстро собрались и уехали в Женеву.

И вот Аня снова в этих краях, где она увлекалась Сен-Симоном и Фурье, где она впервые услышала «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Теперь Аня уже многому научилась, читала Маркса, старалась разобраться в политической экономии.

Аня стоит на мостике через Рону, у самого выхода ее из Женевского озера. Струи Роны такие же хрустальные, и зеркально ясно огромное озеро. Оно искрится под солнцем и переливается нежными красками. Ближе, у самого берега, светло-голубая полоса, потом она переходит в изумрудно-зеленую, и дальше необъятная синяя ширь где-то там, на горизонте, незаметно сливается с небом.

Отсюда Аня видит свой любимый островок, окруженный зеленой завесой плакучих ив. Она обязательно пойдет туда. Но сейчас она спешит.

Вчера сразу по приезде Аня побывала у своих друзей, видела Утиных, Лизу Томановскую. Они все очень

дружны. Они живут одними помыслами, одним дыханием. Они хотят сказать России свое слово, чтобы уберечь ее от бакунинских авантюр и показать правильный путь. У них много дела.

Николай Утин просил Анюту зайти в их типографию.

Она поднимается по ступеням и входит в узкую комнату. Какая знакомая, родная обстановка! Здесь такие же наборные кассы.

У кассы стоит высокий светловолосый человек. На звук шагов он обернулся.

— Здравствуйте. Вы Анна Васильевна Жаклар? Мне о вас говорили. Разрешите представиться — Александр Данилович Трусов.

Анюта протягивает руку.

Вскоре из другой комнаты входит Утин.

— Как я рад, что вы пришли. Помогите нам в работе, Анна Васильевна. Надо срочно отпечатать «Народное дело». Его ждут в России. И как раз есть возможность отправить. Нас выручает один моряк, надежный товарищ. Он увезет «Народное дело» в трюме, в бочке из-под сельди. Наверно, никому в голову не придет, что вместо законных обитателей в бочке поселились незаконные, да еще в буквальном смысле. Мы их постараемся набить так же плотно. Одним словом, будут «как сельди в бочке», — смеется Николай Исаакович.

— Я с удовольствием помогу.

Анюта становится на место Трусова, а Александр Данилович уходит по каким-то неотложным делам.

На другой день набор закончен.

— Вы очень нас выручили, — говорит Николай Исаакович. — Но есть еще одна большая просьба к вам. Вы хорошо знаете иностранные языки и владеете слогом. Нам нужно перевести некоторые брошюры Маркса для «Библиотеки Международного товарищества рабочих». Мы задумали ее издавать как приложение к «Народному делу».

— Хорошо. Я постараюсь перевести.

— Спасибо! Анна Васильевна, еще об одном я хотел с вами переговорить. Мы все вас хорошо знаем и будем рады, если вы станете членом нашей семьи.

Утин тепло посмотрел на Анюту, и ей вдруг вспомнилась их первая встреча здесь, в Женеве, ее неожиданное выступление в кафе, рабочее собрание. Вспомнились вечера в Париже у них на квартире, куда приходили товарищи Виктора по революционной работе, где бывали Лаура и Поль Лафарг...

— Я буду счастлива стать членом Интернационала. Я давно мечтаю об этом, — серьезно сказала она.

На ближайшем заседании Аня была принята в Русскую секцию. Она с гордостью и волнением держит в руках свою членскую книжку. Наверху четким почерком написано ее имя. Внизу круглая печать с надписью: «Международное Товарищество Рабочих». И девиз: «Свобода, Равенство и Братство». Отныне Аня принадлежит к всемирному революционному союзу, который зовется Интернационалом.

С членской книжкой в руках Аня идет на свой любимый островок. Она хочет немного побыть одна.

На старинных фолиантах, как всегда задумчиво, сидит Жан Жак Руссо. Он смотрит куда-то вдаль, на вечные снега Монблана. И в этом взгляде великая мудрость, скорбь о судьбах человечества и призыв к счастью.

Аня стоит возле худощавой бронзовой фигуры и думает о том, что за это счастье будет пролито еще немало крови. И в России, и во Франции, и в других странах. Она, Аня, маленькая песчинка в людском море. Но она готова все свои силы отдать борьбе...

ГЛАВА XXVII

Массивная входная дверь тяжело захлопнулась. Две девушки, опустив головы, молча стоят на тротуаре. Это они только что вышли из здания Берлинского университета.

— Я говорила тебе, Софа, что этот шаг очень рискованный. Вот видишь, не допускают. И даже слышать не хотят.

— Пойдем посидим в садике. Подумаем.

Они идут мимо шуцмана, с важным видом расхаживающего на перекрестке. Лицо у него как каменное изваяние. И все здесь в Берлине чопорно, серо и хмуро. И тяжелые громады домов, и какие-то одинаковые костюмы на людях, и слишком спокойные, бесстрастные выражения лиц. Совсем не то, что в Париже, о котором так любит рассказывать Софья.

Но в Париже нет Карла Вейерштрасса, великого немецкого математика. Он живет здесь, в Берлине, и потому все помыслы Софы устремлены только сюда.

— Как он сказал? — спрашивает она Юлию, вспоминая визит к ректору. — В Германии не увлекаются авантюрными идеями. Место женщин у семейного очага.

— Да, действительно, что станет с бедными мужьями, если жены им вместо обеда будут преподносить трактаты о бесконечно малых! — хохочет Софья.

— Давай уедем обратно в Гейдельберг, — предлагает Юлия.

— Ни за что! — говорит Софья.

Она долго сидит задумавшись. Потом решительно встает.

— Знаешь, Юлка, я пойду к самому Вейерштрассу. Домой.

— Но что ты ему скажешь? Он ведь совсем тебя не знает.

— Он большой ученый... и человек... Он поймет.

— Возьми хоть письма гейдельбергских профессоров.

Софья берет письма и идет одна на тихую зеленую улочку, где, ей сказали, с двумя сестрами живет профессор Вейерштрасс. Она доходит до старого дома с островерхой крышей. Долго стоит на крыльце, не решаясь дернуть колокольчик. Но вот она позвонила. На пороге пожилая женщина в белом переднике.

— Можно видеть профессора Вейерштрасса?

— Сейчас узнаю.

Через несколько минут женщина возвращается.

— Прошу.

С сильно бьющимся сердцем Софья входит в дом. Небольшие уютные комнаты. Старинная мебель, фикус, трюмо в углу. За круглым столом с вязаньем в руках сидели две женщины. Софья поклонилась и за горничной прошла дальше.

Вот открывается дверь кабинета. Софья успела заметить тяжелую кожаную мебель, бюсты великих ученых, книжный шкаф во всю стену.

Из-за письменного стола поднимается несколько грузный человек с красиво посаженной массивной седой головой, крупными чертами лица и большим лбом. Из-под нависших бровей он вопросительно смотрит на вошедшую.

Идя сюда, Софья думала о том, что сказать. Но сейчас она все забыла.

— Я хотела бы учиться... Заниматься у вас математикой... — произносит она, покраснев и с трудом подбирая слова.

Профессор явно удивлен.

— Математика — это трудное дело. И я не слышал, чтобы ею увлекались женщины, — говорит он с

усмешкой.

— Я уже немного занималась.

— Где же?

— В Гейдельберге.

Тут Софья вспоминает про рекомендательные письма гейдельбергских профессоров, она даже открывает ридикюль. Но потом вдруг раздумывает их отдавать.

— Это у вас, верно, дань моде, — говорит Вейерштрасс. — Теперь женщины стараются во всем походить на мужчин, особенно, я слышал, у вас в России.

Вейерштрасс сердито поверх очков посмотрел на сидящую перед ним девушку, на ее коротко стриженные волосы. Надо постараться избавиться от непрошеной гостьи.

Профессор берет со стола лист бумаги и пишет на нем условия трех задач. Очень трудных. Даже лучшие его ученики вряд ли справились бы с ними.

— Вот, — говорит он. — Если решите, приходите. Если нет — тогда уж посоветую вам выбрать в жизни путь менее трудный.

Гостья пробежала листок глазами, сложила вчетверо, поблагодарила и ушла.

Прошло три дня. Профессор уже и забыл о странном визите.

Как вдруг под вечер опять раздался звонок. Вейерштрасс был в саду. Он любил в часы досуга сажать цветы, поливать деревья.

— Карл, — говорит сестра, — к тебе опять эта русская.

— О, это мне начинает не нравиться. Я же сказал ей... Задачи, конечно, она не решила. Ну, раз пришла, пусть идет сюда.

Русская девушка проходит в сад и протягивает профессору тетрадку, тесно исписанную значками и формулами.

Карл Вейерштрасс надевает очки.

— Интересно знать, — бормочет он, — есть ли хоть приближение к истине...

Он читает, и по мере чтения лицо его становится удивленным, светлым, радостным.

— О! — восклицает он. — Так, так! Правильно!

Он смотрит на Софью, и у него невольно вырывается вопрос:

— Вы сами решали?

— Сама, — смущенно улыбаясь, отвечает Софья.

Тут только Вейерштрасс замечает, как она молода и хороша собой. Ее юное лицо полно такой живости и непосредственности, в больших блестящих глазах столько мечтательности и силы мысли.

— Расскажите мне подробней, где и у кого вы учились? — спрашивает профессор.

Только теперь Софья вынимает письма гейдельбергских профессоров.

— Я сделаю все возможное, чтобы вы были приняты в наш университет.

— Мне надо, чтобы и подруга. Она химик.

— Хорошо. Я поговорю и о ней.

Когда русская девушка ушла, старый ученый долго еще сидел в своем кабинете.

— Карл, иди ужинать, — позвала сестра.

— Клара, зайди посмотри, как она красиво решила.

— Но я в этом ничего не смыслю.

— Я тоже решал бы так. Самым коротким, но и самым трудным путем.

Катя подошла к окну, осторожно заглянула за занавеску. Так и есть, опять этот тип! Стоит напротив, уткнулся в афиши. А вчера, когда она выходила из дома,

он шмыгнул в кондитерскую рядом. Не иначе, как за ее квартирой установлена слежка. Надо что-то предпринять. Но сегодня она должна во что бы то ни стало быть на рабочем кружке.

Под вечер Катя вышла из дому. Оглянулась кругом. Как будто ничего подозрительного.

Катя пошла к остановке конки. Вот показались две рослые лошади, запряженные в двухэтажную колымагу. По винтовой лестнице Катя забралась на империал. Отсюда ей хорошо была видна улица.

Катя еще раз огляделась. Сейчас конка тронется. И в этот момент она опять увидела того человека. Он подбежал к конке и тоже влез на империал.

Теперь Катя могла хорошо его разглядеть. Это был тощий пожилой мужчина. Глаза его закрывали темные очки. Он сейчас же вынул газету и сделал вид, что читает.

«Погоди же, я оставлю тебя с носом», — сказала сама себе Катя.

Конка медленно тащилась вдоль Садовой улицы. У Гостиного двора она остановилась.

Катя быстро спустилась вниз и пошла по улице. Но она увидела, как тот мужчина тоже сошел с конки. За спиной она явно слышит шаги своего преследователя.

Неожиданно Катя свернула в подъезд красивого трехэтажного дома. Швейцар в золоте, низко кланяясь, отворил ей двери.

Через полчаса богатая карета, запряженная парой лошадей, выехала из ворот дома. Кучер гикнул, щелкнул бичом. Чистокровные рысаки, серые в яблоках, лихо взяли с места и понеслись, высоко вскидывая тонкие ноги.

В карете сидели молодой офицер в гвардейском мундире и дама. На лицо дамы, согласно канонам моды, была опущена вуаль. Офицер что-то говорил своей спутнице, и, наклонившись к нему, она весело смеялась.

Карета вылетела на Невский и помчалась, видно, на гулянье, в сторону островов.

Но, порядком отъехав, карета боковыми улицами повернула обратно.

— Куда тебя довезти, Катя? — спросил гвардейский офицер. Это был ее двоюродный брат.

Катя задумчиво смотрела в окно. Они ехали по Шлиссельбургскому тракту. Длинный он, этот тракт. И всюду, куда ни глянь, она видит только питейные заведения, кабаки да церкви. Вот вывески: «Тверь», «Лондон», «Василек». Толпится возле народ. Где-то залихватски голосит гармонь. У забора пьяный лежит лицом в грязной луже.

— Останови, — сказала Катя тихо. — Дальше я пойду пешком.

Она свернула в боковую улицу. Грязно. Темно. На Шлиссельбургском тракте есть хоть редкие фонари да у каждого трактира фонарь. Здесь фонарей нет совсем. Только кое-где сквозь маленькие оконца в деревянных хибарках пробивается тусклый свет керосиновых ламп.

Катя подошла к одному окошку, стукнула три раза.

— Кто там? — послышался мужской голос.

— Софья Александровна.

Дверь сейчас же открыли, — видно, ждали.

— Здравствуйте, Софья Александровна. — Так ее теперь называли в кружках в целях конспирации.

— Все собрались? — спрашивает Катя.

— Все. Проходите, пожалуйста. О, да вы в туфлях. В туфлях в наших краях не годится. Снимайте, снимайте. Пока наденьте вот нашу обувь. А туфли пусть подсохнут, — говорит хозяин квартиры, пододвигая Кате тряпичные шлепанцы.

Катя проходит из кухоньки в небольшую комнату. За столом, на кровати, на сундуке сидят человек пятнадцать. Здесь она видит студентов Натансона, Синегуба. Остальные, видно, рабочие. Их сразу можно

отличить, людей труда. Руки темные, заскорузлые, в мозолях, с навсегда въевшейся в кожу металлической пылью. У окна Катя замечает двух женщин в платочках. Она обрадовалась. Просыпаются и женщины. Это первые ласточки.

Катя рассказывает о делах за границей, о Русской секции. И, глядя в устремленные на нее любопытные глаза под цветными платочками, подчеркивает, что в секции половина женщин.

— Так тож небось учителки али дворянского роду. А наши разве разумеют! — вставляет рыжий вихрастый парень, с усмешкой взглядывая в угол у окна.

— Не дурней тебя! — бойко отрезает девушка со вздернутым носиком и краснеет.

— Будет вам, дайте послушать Софью Александровну, — отмахивается пожилой рабочий. — Я так понимаю, Софья Александровна, ежели мы сами не возьмемся за свое дело, то никто нам не поможет. А браться надо всем вместе, гуртом. Мы вот в мае, к примеру, бастовали, так кое-чего и добились. Потому что остановилась враз вся бумагопрядильня, а кого хозяин нанимал, мы их не допускали до работы, отговаривали. А если б к тому еще и другая фабрика остановилась, и третья. Да кто бы нам помог, семьям нашим, перетерпеть это время — еще бы не то было. Так я понимаю?

— Так, так, — кивает головой Катя. — И помочь могут не только из нашего города, но и из других городов, и из другой страны. Для того и создано Международное товарищество рабочих, Интернационал. Чтоб собрать всех вместе, чтоб держались друг за друга. Я расскажу вам про стачку в Женеве. Она была недавно. И закончилась победой рабочих. А почему? Потому что они между собой объединились. Бастовали строительные рабочие, а часовщики и ювелиры им помогали. Деньги слали братья по классу и из Франции, и из Германии. Вот

что значит единство. В единении — великая сила. Поэтому Интернационал призывает: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». И правильно тут сказали, что никто для нас ничего не сделает, только мы сами. Вот почему на знамени Интернационала написано: «Освобождение рабочего класса есть дело самого рабочего класса».

— Нам тут господин студент приносил одну книжку, — поглаживая бороду рукой, вступает в разговор другой рабочий. — Только не по-нашему она написана. Но он все разъяснил, будто есть рабочий класс и класс буржуев. И это верно, что нам с ними не по пути. И про то он читал в этой книжке, как вы сказали, насчет пролетариата, чтобы объединяться. Только, я думаю, перво-наперво нам нужно выучиться грамоте, чтоб самим разобраться, что в книжках написано. А мы не только что чужой, своей грамоты не знаем.

— Грамоту надо одолеть обязательно, — говорит Катя. — С вами будут заниматься студенты. А я вот привезла вам кое-что...

Бартенева достает принесенные с собой экземпляры «Народного дела», газеты, книги.

Поздно вечером, когда стали расходиться, Катя сказала:

— Я пойду одна. За мной, кажется, следят. Не надо рисковать. И как можно быстрее предупредите всех, чтобы на мою квартиру больше не ходили, — обратилась она к Натансону и Синегубу. — Я и сама туда не вернусь.

Она чувствовала, что надвигается опасность. И была права. Полицейские агенты действительно следили за ней. Они доносили в Третье отделение о том, что приехавшая из-за границы Бартенева общается со студентами. Она «навещала их на Петербургской и Выборгской стороне и оставалась у них до поздней ночи, а иногда и до утра. Она подозревается в устройстве здесь секции интернационального общества, в число

членов которого Бартенева весьма усердно вербовала студентов...».

Через несколько дней на квартире Бартеневой был обыск. Однако Катя была очень осторожна. Ничего запретного не нашли.



Катя ночевала то у одних, то у других родственников. Но потом она снова сняла комнату, в самом дальнем углу Васильевского острова, на 16-й линии. Теперь к Бартеневой никто не ходил. Ее адрес знал только Натансон.

Однажды Катя услышала условный звонок. Она открыла дверь. Перед ней стояла Ольга Левашова.

— Оля, вот не ждала. Когда ты приехала? Как узнала мой адрес?

— Приехала только вчера. И вчера же разыскала Натансона.

— Расскажи, что в Женеве? Как мои Витошка и Гринька?

— Все хорошо. Они здоровы. Мы все присматривали за ними, ходили с ними гулять на озеро. Вот тебе письмо от Виктора Ивановича.

Пока Катя читает письмо, Ольга разглядывает комнату. Обстановка небогатая. Пузатый комод, умывальник, кровать за ситцевым пологом. Вышитые салфеточки, бумажные цветы. В переднем углу божница с иконами.

Ольга подходит к этажерке. Книги только религиозные: «Библия», «Евангелие», «Жития святых». Тут же журналы «Семейные вечера».

— Чья это комната? — спрашивает Ольга.

— Какого-то молодого чиновника с женой. Уехали на время к своим родственникам. У меня тут еще кухонька и темная комната. Квартира очень удобная — отдельный домик, никого больше нет.

— Однако ты хороший конспиратор. Ни одной недозволенной книги. И огонек горит в лампадке, — смеется Ольга.

— Для недозволенного у меня есть свой тайничок. Не здесь. Будешь конспиратором. Я уже на примете у полиции.

— Расскажи, — говорит Ольга. Она сразу делается серьезной. — На этот случай я имею особые указания от Николая Исааковича.

— Да что рассказывать. Эта квартира у меня вторая. А в первой был уже обыск. Но, как видишь, мне удалось ускользнуть.

— Ты, как всегда, оказалась молодцом. Всем бы нам суметь так работать. А в нашем полку в Женеве прибыло. К нам вступила Анна Корвин-Круковская, по мужу Жаклар. Ты ее не знаешь?

— Как же, знаю. И ее, и мужа. Я познакомилась с ними у Андре Лео в Париже, когда в последний раз ездила туда для связи. Мне очень понравилась Анна. И муж славный. Все пытался со мной говорить по-русски. Я рада, что Анна с нами.

— Катя, что тебе удалось сделать за это время?

— Были встречи со студентами и рабочими. Теперь мы составляем списки для организации секции.

— А бочку получила?

— Получила. Все благополучно. Мы отправили «Народное дело» в Москву, Харьков, Одессу, Новороссийск, Казань. Там везде теперь имеются наши кружки.

— Ты все-таки много сделала. Но Николай Исаакович беспокоится. Он просил тебе передать, что если ты попала в поле зрения полиции, немедленно возвращайся в Женеву. Твою работу буду продолжать я.

Катя задумалась.

— Ты приехала с детьми? — спросила она.

— Да. Забрала всех пятерых. Так будет лучше. И я не буду беспокоиться, и никто не подумает, что такая почтенная мать семейства, да еще из знатной фамилии, занимается революционной пропагандой.

— А выпустят ли меня теперь за границу? Хотя повода для ареста у них нет.

Катя подошла к окну. Оно выходило на пустырь. Кругом была осенняя грязь. Кое-где виднелись кустики пожухлой травы. Ветер трепал желтые листья двух березок, одиноко стоявших на пригорке.

Катя вспомнила Шлиссельбургский тракт, Александровскую улицу и маленький домик, где ее так ждали.

— Жалко расставаться с людьми. Они меня уже знают, — сказала она, вздохнув.

— Ничего. Познакомишь меня с ними. А оставаться тебе опасно. Надо уезжать.

ГЛАВА XXVIII

Она никак не ожидала, что двери откроет он сам, — и растерялась. А он уже говорил весело и непринужденно:

— Вы ко мне? Проходите, пожалуйста. Вот сюда.

Маркс был широкоплечий, коренастый, с гривой черных, посеребренных сединой волос и живыми темными глазами на смуглом лице.

По внутренней лестнице они поднялись во второй этаж и вошли в довольно просторную комнату с широким окном, выходящим в парк. Направо был камин, посередине, против окна, стоял простой письменный стол, слева кожаный диван, по стенам шкафы с книгами.

— Садитесь, рассказывайте, — произнес Маркс, приветливо глядя на Лизу.

Маркс пододвинул гостье кресло возле стола, сам сел напротив.

Лиза рада была, что свет из окна падает сзади и не так видно ее смущение.

— Я к вам от Русской секции, из Женевы, — сказала Лиза. — Вот письмо.

— О, так вы мадемуазель Элиза. Мне писал Беккер. Та самая веселая волшебница, которая обратила в бегство самого бога анархии.

Маркс расхохотался.

— Вы его сразили смехом. Это острое оружие. Говорят, после этого диспута Бакунин надолго потерял равновесие.

Маркс надорвал конверт, вынул письмо.

Лиза украдкой разглядывала кабинет. На стене висел гобелен, изображающий бушующее море. В углу виднелся мраморный бюст какого-то античного героя. На камине лежали сигары, стояли фотографии, видимо,

близких людей. Но что больше всего поражало в этой комнате — это книги. Здесь было царство книг. Книги, рукописи, журналы, газеты лежали всюду. Не только на полках, но и сверху на шкафах, на рабочем столе, еще на двух столиках, стоявших в комнате, на стульях и даже на полу. Лизе казалось, что они разбросаны как-то без особого порядка.

Она заметила на письменном столе раскрытую книгу. О, она узнала ее сразу! Это был томик стихов Гейне. Лиза обрадовалась, как будто встретила старого друга. Так, оказывается, и Маркс увлекается стихами!

Маркс перехватил взгляд Лизы.

— Я вижу, вы любите Гейне!

— Да, особенно «Зимнюю сказку» и «Силезских ткачей».

Маркс погрустнел.

— Он умер ужасной смертью. Восемь лет он лежал больным, не мог двигаться, шевелиться. Но не терял бодрости. «Силезских ткачей» он писал после восстания ткачей. Он принес нам только что написанные строки и читал. Генрих был большим другом нашей семьи. Это великий поэт. Про него можно сказать словами Пушкина:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...

Пушкинские строки Маркс произнес по-русски.

— Мы будем с вами говорить по-русски. Я изучаю русский язык. Меня можно понять?

— Вполне, — говорит Лиза, улыбаясь.

Маркс подошел к книжному шкафу.

— Я недавно завел в своем шкафу новую полку. Вот посмотрите — только русские издания.

«Лиза подходит к шкафу и видит тома Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя,

Добролюбова, Герцена, Тургенева, Чернышевского.

— Как здесь много книг! Вашей библиотеке позавидует любой русский.

— Это мне присылали русские друзья. Ваш язык не легкий. Он ведь сильно отличается от германских и романских языков. Но результат стоит усилий. Я могу в подлиннике прочесть ваших великих писателей и вашего Чернышевского. Это замечательный мыслитель.

Его произведения поражают силой и глубиной мысли. Его политическая смерть — большая потеря не только для России, но и для всего мира.

Маркс снимает с полки книгу Флеровского «Положение рабочего класса в России», о которой он писал Русской секции.

— Я достал ее с большим трудом, — говорит он. — Это первая книга, которая рассказывает правду об экономическом состоянии России, беспощадную и жестокую правду. Этот человек, видно, сам всюду побывал и наблюдал все лично. Он жгуче ненавидит помещиков, капиталистов и чиновников.

Маркс показывает «Лизе абзац о том, что в России рабочий день длится более четырнадцати часов и даже дети на многих фабриках работают по шестнадцать часов.

— «Ярославский статистический комитет нашел образцовым положение рабочих на фабриках, где мужчины, женщины и дети работали по четырнадцать с половиной часов в сутки и жили в казармах!» — Читает Маркс по-русски. — При этом заработная плата такова, что не хватает денег даже на продукты питания. А промышленные товары рабочий может купить в год на сумму от одиннадцати до четырнадцати копеек. Это же крайне низкий уровень! По подсчетам Флеровского, праздничное платье женщина из рабочей семьи может сшить раз в двадцать лет! — с возмущением говорит Маркс.

Лиза берет в руки книгу Флеровского. Она вся испещрена пометками Маркса. Подчеркивания с левой и с правой стороны то волнистой линией, то прямой. Восклицательные и вопросительные знаки, надписи на русском, немецком, французском языках.

— Мы тоже в Русской секции изучали книгу Флеровского, — говорит Лиза. — Василий Васильевич Верви — такова его настоящая фамилия — очень серьезный публицист. Он долго и кропотливо собирал статистические данные. И сам видел жизнь. Он ведь неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Жил в Сибири, на окраинах России. Русская действительность очень тяжела.

Лиза уже совсем оправилась от смущения. С каждой минутой она проникалась все большей симпатией к Марксу. Этот непринужденный тон разговора. И то, что Маркс любит стихи. И как он старательно выговаривал каждое русское слово, не стесняясь переспрашивать Лизу. Все было так по-человечески тепло и просто. И Лизе казалось, что они знакомы много лет.

Лиза рассказала Марксу про поездку Бартеневой в Россию и о ее впечатлениях. Про стачку на Невской бумагопрядильной фабрике.

— А русские крестьяне? Как они живут? — говорит Лиза, и перед глазами у нее возникает как будто давно забытая и все же никогда не забываемая картина, призрак далекого детства: на коленях плачущая мать и мужики с вилами и топорами...

— Здесь я могу многое вам рассказать, — вздохнув, продолжает Лиза.

Она обрисовывает крестьянскую жизнь так ярко, с такими подробностями, что Маркс спрашивает:

— Вы, наверно, видели все это своими глазами?

Потом они говорят о том, как нужно построить пропаганду в России, о работе Русской секции, о международном рабочем движении.

— Я убежден, что именно в России неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция, — говорит Маркс. — Так что работы у вашей секции очень много. Главное — тесная связь с родиной. Там заметно брожение, поднимаются новые силы, которые хотят осмыслить все происходящее.

Они помолчали.

— А знаете, — сказала Лиза, — ваш «Капитал» перевернул многое в сознании русских революционеров.



Маркс улыбнулся.

— Когда в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году вышел мой «Капитал», я вскоре получил

предложение из России о его переводе и издании. Это было для меня неожиданностью и огромной радостью. И это показательно. Россия будет первой страной, переиздавшей «Капитал». «Капитал», — он задумался, — это дело всей моей жизни. В основе его большой фактический материал.

Маркс подходит к шкафам, к столу, достает то одну, то другую книгу, показывает Лизе журналы, выписки из газет. Он находит все безошибочно и быстро, и Лиза убеждается, что тот беспорядок в книгах, который показался ей сначала, на самом деле для хозяина является строгим порядком.

— Работа над «Капиталом» еще не закончена. Но и то, что сделано, могло быть осуществлено только благодаря жертвам со стороны моей дорогой семьи и моих лучших друзей. Я познакомлю вас с Фридрихом Энгельсом. Это замечательный человек, — говорит Маркс.

— Конечно, можно было бы жить безбедно. Адвокатская карьера могла давать средства к существованию. Но я всегда говорю себе: надо быть скотом, чтобы повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Вы ведь тоже в Русской секции живете по тем же принципам, что и я. Мне говорили, что Утин — блестящий филолог. А вот вы, я слышал, княжна, — смеется Маркс.

Лиза тоже смеется. Она хочет сказать, что не совсем так, ее род уже не чистый, «подпорчен».

В это время открывается дверь и в комнату вбегают черноглазая девочка, похожая на Маркса.

— Это моя младшая дочь, Элеонора, — говорит Маркс. — Познакомься, Тусси, — обращается он к дочери.

Девочка сделала церемонный поклон.

— Кво-Кво — китайский принц, — и тут же расхохоталась.

— Кво-Кво, она же Тусси, она же карлик Альберих, — смеясь, сказал Маркс.

— Мавр, — сказала Тусси, — мама и Ленхен приглашают вас к столу.

— Хорошо. Передай маме, что мы сейчас придем. Только закончим разговор.

— О, я знаю. Ты ведь заговоришься и забудешь. Лучше иди сразу.

— Что ж! Ты, как всегда, права. Мы за столом успеем наговориться, — сдаётся Маркс, приглашая Лизу в столовую.

За столом хлопотала жена Маркса. Несмотря на годы, несмотря на лишения, она была еще очень хороша собой. Матово-белое удлинённое лицо. Темные дуги бровей. Большие карие глаза, светившиеся лаской и вниманием. Только несколько оспинок на лбу напоминали о недавно перенесенной тяжелой болезни.

— Знакомься. Это Элиза Томановская из России. Помнишь, нам писал Беккер... — сказал Карл.

— Как же! — улыбнулась Женни. — Схватка с всемирным разрушителем. Об этом много говорили.

— Но рассказывайте, когда вы приехали? Где остановились? Как устроились? Может быть, там нехорошо — так переезжайте к нам. Как это у вас говорят — мне читал Карл: «в тесноте, да не в обиде». — Глаза ее смотрели приветливо, видно было, что она всегда готова сделать все для друзей.

— К нам, к нам! — воскликнула Тусси. — Я сяду рядом с мадемуазель Элизой!

Девочка подбежала к Лизе и обняла ее — это было высшим выражением симпатии со стороны китайского принца Кво-Кво.

Лиза поблагодарила всех. Сказала, что она устроилась в отеле и что там вполне прилично.

В комнату вошли старшая дочь Маркса, Женни, и Елена, неся подносы с бутербродами.

— Знакомьтесь, это Женнихен и наша Ленхен, — сказала Женни-старшая.

У Женни было смуглое лицо, черные блестящие волосы, спадавшие локонами на плечи, карие глаза, тоже, как у матери, ласковые и приветливые.

Ленхен, Елена Демут, была примерно одних лет с женой Маркса.

Она давно жила в семье, заботилась обо всех, помогала по хозяйству. Была добрым другом, преданным и бескорыстным, настоящим членом семьи.

Прежде чем сесть за стол, Женни подошла к мольберту, стоявшему у окна, и, опасаясь, видимо, солнца, которое неожиданно вышло из-за туч, задернула занавеску над картиной.

— Вы рисуете, Женни? — заинтересовалась Лиза. — Покажите, пожалуйста.

Картина была еще не закончена, но говорила о недюжинных способностях художника. На ней были изображены пастух и принцесса по одной из сказок Андерсена.

— Это я ей придумала тему, — важно сказала Тусси.

— Уж не подговариваешься ли ты делить гонорар пополам, — засмеялась Ленхен.

— Если будет мне растирать краски, так и быть, — сказала Женни-младшая.

— А что скажет Мавр? — допытывалась Тусси.

— А я скажу, что больше не буду тебе рассказывать сказки, раз ты употребляешь это во зло.

— Но давайте садиться за стол. Наша гостья, наверно, уже давно проголодалась, — сказала жена Маркса.

Подшучивая друг над другом, они сели за ужин. «Лизе было так хорошо, так тепло в этой дружеской обстановке. «Наверно, на их долю приходится немало испытаний, — думала она, — но, несмотря ни на что, они счастливы. И это самое драгоценное для человека».

ГЛАВА ХХІХ

Анюта закончила для приложения к «Народному делу» оба перевода — «Первого манифеста Международного товарищества рабочих» и «Устава Интернационала», написанные Марксом.

Теперь она еще раз читает «Капитал». Это такое произведение, о котором должен знать весь мир. Анюта слышала, что в России уже занимаются переводом «Капитала». Она хочет перевести «Капитал» на французский язык. И уже начала эту огромную и трудную работу.

Карл Маркс давно слышал от своего зятя, Поля «Лафарга, об Анне. Он знал и Жаклара. В апреле 1870 года Маркс писал Энгельсу: «Лафарг познакомился в Париже с одной весьма ученой русской (подругой его друга Жаклара, превосходного молодого человека)».

Позднее, узнав о работе Анны Жаклар над «Капиталом», Карл Маркс прислал ей письмо и свою фотографию.

Однако обстоятельства складывались так, что приходилось на время оставить перевод «Капитала». Надвигались грозные события. Вот уже полтора месяца, как Франция воевала с Германией. Французы терпели поражение. В битве под Седаном 82-тысячная армия французов сдалась в плен вместе с императором Наполеоном III. Немцы шли к Парижу. В стране назревала революция.

Жаклары лихорадочно следили за газетами. Виктор рвался на родину.

— Нужно ехать! — говорил он, хотя было ясно, что для него это сопряжено с риском — ведь он был заочно приговорен к ссылке.

Но Анюта его не отговаривала.

«Перед настоящими обстоятельствами нельзя оставаться в бездействии, и недостаток в людях с головами и решительностью слишком ощутителен, чтобы думать о спасении своей кожи. Нас удерживают покуда только хлопоты о паспорте или виде на чужое имя, без которого невозможно въехать в Париж», — писала она сестре. И дальше: «Когда человек хочет, чтобы его убеждения и поступки были приняты за известное дело, он должен рисковать собой. И если бы я и имела влияние удержать Жаклара, то ни за что не решилась бы употребить его. Самое же меня лично страшно как интересуется то, что происходит в настоящую минуту, и не будь этого опасения за свободу Жаклара, я с величайшим бы удовольствием готовилась к отъезду».

В сентябре Жаклары уехали в Париж.



Софья задумчиво стоит у окна. Вдруг она совсем приблизилась к стеклу, вглядывается.

— Юля, Юля! Посмотри, я, кажется, не ошиблась. К нам идет Вейерштрасс. Вон, видишь...

Юля подбегает к окну.

— Этот в черном? Но ведь я его не знаю, Софа, — говорит она растерянно.

Девушки мечутся по комнате, что-то прибирают, переставляют.

Раздается стук в дверь. Это действительно пришел профессор Вейерштрасс.

— О, у вас здесь совсем не светлая комната. Я скажу сестрам. Они помогут устроиться. Поищут комнату у знакомых, — говорит он ворчливо.

Он садится за стол и что-то вздыхает. Видно, расстроен.

— Соня, — позвольте мне так вас называть, — я должен вас огорчить, — говорит он. — Несмотря на все мои старания, вас в университет не принимают. И даже слышать не хотят. Но вы не падайте духом. Я буду с вами заниматься сам. Вы согласны?

Софья вспыхивает.

— О, профессор. Я так вам благодарна...

— Вот и начнем сегодня.

— А как же Юлия?

— Мы устроим и вашу подругу.

Да, несмотря на авторитет Вейерштрасса, несмотря на его просьбу, Софью Ковалевскую в Берлинский университет не приняли. Только потому, что она не родилась мужчиной.

«...Доселе непреклонная воля высокого совета никак не допускает к нам вашего женского слушателя, который мог бы оказаться весьма ценным», — писал Вейерштрасс профессору Кенигсбергеру в Гейдельберг.

Вейерштрасс стал заниматься с Софьей Ковалевской два раза в неделю. И приносил ей свои лекции. Он все больше удивлялся способностям и трудолюбию своей ученицы. Когда она занималась какой-либо математической проблемой, для нее не существовало ничего окружающего. Ее острый ум проникал в самую суть вопроса. Ее размышления поражали своей стройностью и глубиной.

«Могу заверить, что я имел очень немногих учеников, которые могли бы сравниться с нею по прилежанию, способностям и увлечению наукой», — писал Вейерштрасс своему другу.

Он вскоре мог говорить с ней, как равный с равной. И это делало их занятия и для него чрезвычайно увлекательными и интересными.

ГЛАВА ХХХ

Вот уже три месяца Лиза Томановская живет в Лондоне. Она ходит на рабочие собрания, на митинги, бывает на заседаниях Генерального совета и секций Интернационала.

Почти ежедневно Лиза занимается в библиотеке Британского музея, изучая исторические науки. Она любит эти длинные столы с сидящими за ними, молчаливо склоненными над книгами людьми, тишину, шелест переворачиваемых страниц.

Библиотека похожа на храм, храм мысли. Сама обстановка здесь располагает к глубокому раздумью, к проникновению в прошлое, к мечтам о будущем.

Не было такой книги, которую нельзя было бы здесь получить. Старый библиотекарь, к которому обращалась Лиза, напоминал жреца. Казалось, он знал наизусть все каталоги, все названия. Он молча брал написанный Лизой листок и вскоре приходил с требуемой книгой.

Лиза читала, делала у себя пометки.

Ее интересовало чартистское движение. Революция 1848 года. Истоки рабочего вопроса.

Лиза ходила по улицам Лондона, и тени прошлого обступали ее со всех сторон.

Она видела, как с барабанным боем и развернутыми знаменами шли на фабрики рабочие и вдребезги разбивали машины.

Машина им казалась виновницей всех бед, их нужды и голода. Из-за нее они потеряли работу и были выброшены на улицу. Тогда они еще не понимали, что виной всему — капиталистическая эксплуатация.

Правительство собиралось расправиться с луддитами^[3]. Но в их защиту в парламенте выступил великий поэт, лорд Байрон.

Лиза представляла себе, как по этим же лондонским улицам проходили чартисты. Они шли на свои митинги ночью, после трудового дня. Многие тысячи людей. Факелы освещали их изможденные лица.

На их знаменах было написано:

«Рабочие — истинно благородная часть нации!»

«Побольше свиней, поменьше попов!»

«Продав одежду, купи оружие!»

Но особенно много было знамен, на которых повторялся один и тот же лозунг:

«Всеобщее избирательное право! Хартия! Хартия!^[4]»

Рабочие требовали всеобщего избирательного права. Чтобы был отменен имущественный ценз^[5]. Чтобы в парламенте заседали не одни только помещики и фабриканты, но и представители рабочих, народа.

В борьбе за это дело они создали свою партию. Это была первая в мире рабочая партия.

Но они еще не знали, как добиться своих прав. Они были против действия силой, против восстания. Они хотели убедить капиталистов и помещиков в необходимости равенства. И это привело к разгрому партии.

Лиза идет и думает о том, как необходимо изучать историю, чтобы не повторять пройденного пути, не делать тех же ошибок.

Иногда Лиза ходила гулять вместе с Женнихен. У них оказалось много общего в привычках, взглядах, вкусах, и они подружились. Кроме того, Женни привыкла всегда быть вместе со своей сестрой Лаурой, которая была на два года младше ее. С ней они обсуждали прочитанные книги, жизненные события, интимные дела. Но недавно Лаура вышла замуж и уехала во Францию, и Женни без нее очень скучала.

Женни была в курсе всех революционных событий. Она особенно интересовалась освободительной борьбой ирландцев и под псевдонимом «Дж. Вильямс» писала в

защиту ирландцев статьи в газеты, которые имели большой успех.

Вся семья Маркса бывала на собраниях, устраиваемых в поддержку ирландцев.

Обычно Женни носила сверх платья подаренный ей польскими повстанцами крест на черной ленте. Этой реликвией она очень дорожила. В знак солидарности с ирландцами она заменила черную ленту на зеленую — национальный цвет Ирландии.

Женни побывала с Лизой в музеях города. Они проехали по первой в мире подземной железной дороге. Бродили по Гайд-парку, этому любимому месту отдыха англичан.

Гайд-парк находился в центре города, вблизи были шумные улицы, но он напоминал собой просторный деревенский луг, обсаженный деревьями.

Что больше всего удивляло Лизу — здесь можно было ходить, сидеть и лежать на траве. И парк был доступен каждому. А в Петербурге вообще простолюдинов в парки не пускали.

Женни рассказала Лизе историю Гайд-парка.

Когда-то, в годы средневековья, здесь устраивались празднества. Обычно они начинались шествием цеховых организаций. Каждый цех нес свое знамя и свои знаки отличия: цирюльники — мыло и бритву, сапожники — кожи и шило, портные — ножницы и иглу. Потом прямо под открытым небом начинались представления, которые заканчивались плясками и играми. Тут же стояли столы с яствами и напитками, лоточники выкрикивали свой товар.

В Гайд-парке устраивались народные собрания, митинги.

— Недавно тут был митинг в поддержку ирландцев. Этот митинг организовало Международное товарищество рабочих. Здесь было столько народа, около семидесяти тысяч людей. Это по данным газет. Но

ведь газеты английские, значит, цифра явно преуменьшена, — сказала Женни. — Парк представлял сплошную массу мужчин, женщин и детей. Даже деревья до самых макушек были усыпаны людьми, всюду видны знамена, а сверх знамен вздымались красные фригийские колпаки^[6]. Все пели «Марсельезу».

Женни и Лиза подходят к той части парка, где специально отведена площадка для ораторов. Здесь мог выступить каждый, говорить, что он хочет, читать, петь.

Вот и сейчас какой-то бородатый человек с лицом пророка призывал всех к покаянию. Молодой энергичный мужчина рассказывал о преимуществе нового сорта табака. Старушка нараспев читала псалмы. А негр говорил об освободительной борьбе.

Девушки остановились послушать.

Как вдруг пошел дождь. Правда, у них был с собой зонтик — англичане всегда ходят с зонтиками. Но стал напозать туман. Он шел такой плотной стеной, что сразу вокруг стало темно.

Подруги вышли из Гайд-парка. Лиза привыкла к туманам в Петербурге, но все же ничего подобного она никогда не испытывала. Ничего не видно было в двух шагах. Люди натыкались друг на друга. Выли сирены, кричали кучера кебов, пронзительно звонили омнибусы.

Женни и Лиза едва добрались до Мэйтленд-парк-род.

А там уже их ждали, волновались.

— Хотел ехать вас разыскивать, да не знал куда, — сказал Фридрих Энгельс по-русски. Он тоже изучал русский язык и при знакомстве отрекомендовался Лизе Федором Федоровичем.

Здесь же была Лицци, жена Энгельса, по происхождению ирландка.

Прошло всего пять месяцев, как Энгельс переехал в Лондон. Он снял квартиру вблизи квартиры Маркса.

Наконец-то исполнилась давняя заветная мечта — два друга, два соратника могли быть вместе.

За эти три месяца Лиза часто бывала в семье у Маркса. Здесь все к ней относились как к родной.

Она старалась не беспокоить хозяина дома, но он всегда, когда узнавал, что она здесь, звал ее в свой кабинет.

— Вы не хотите, чтобы я упражнялся в русском? Но это мне необходимо хотя бы уже потому, что я являюсь вашим представителем. Теперь я все бумаги в Генеральном совете подписываю: «Секретарь-корреспондент для Германии и России», — улыбаясь, говорил он.

Иногда, когда удавалось уговорить Маркса отдохнуть, оставить на время работу, они всей компанией совершали прогулки за город. Это были чудесные часы.

Они устраивались обычно где-нибудь на лужайке, под деревьями. Ленхен и девочки стелили скатерть. Из большой корзины доставали закуски.

Потом они бегали по лужайке, играли в жмурки. Маркс, вытянув руки, шарил перед собой.

— Не подглядывай! — кричала Тусси. — Я знаю, мамэ некрепко повязала тебе платок!

«Мэмэ» — это была Женни-старшая.

Набегавшись, они усаживались в кружок, и Тусси просила:

— Мавр, расскажи сказку, помнишь ту, где карлик Альберих!

Маркс был замечательным рассказчиком. Он знал много сказок. И умел придумывать их сам.

Потом выступал Генерал, он же Фридрих Энгельс. Энгельс тоже много знал интересных и смешных историй.

Или декламировала Женни-младшая. У нее определенно были сценические способности, она знала

много стихов. Впрочем, все в семье Маркса любили стихи, знали наизусть Шекспира, древних поэтов.

Однажды Женнихен с пафосом прочла:

Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне,
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.

Я хочу познать искусство —
Самый лучший дар богов,
Силой разума и чувства
Охватить весь мир готов.

Так давайте в многотрудный
И в далекий путь пойдём,
Чтоб не жить нам жизнью скудной —
В прозябании пустом.

Под ярмом постылой лени
Не влачить нам жалкий век,
В дерзновенье и стремленье
Полновластен человек.

Лизе понравились стихи. Хотя они были не очень гладко написаны, но в них чувствовалась воля к борьбе, страстность, вера в человека.

— Кто написал эти стихи? — спросила Лиза у Женнихен.

Женнихен лукаво посмотрела на Лизу.

— Это секрет.

— Секрет, секрет! Мы вам не скажем, — запрыгала Тусси. — Догадайтесь сами!

Карл Маркс и Женни улыбались. Лиза пожала плечами.

— Я не знаю.

— Как же вы не знаете такого известного поэта? — с укором сказала Тусси. — Ай-яй-яй! Я прочту вам еще одно стихотворение его же. Может быть, вы тогда вспомните.

Она взобралась на пенек, подняла гордо голову.

Что слова! Для суеты, для вздора!
Им ли чувств величье выражать?!
А моя любовь — титан, который
Может гор громады сокрушать!
О, слова! Сокровищ духа воры!
Все бы им мельчать и унижать:
Что нескромного боялось взора,
Любят напоказ они держать.
Женни! Если б голосами грома,
Если б речью сфер я овладел,
По всему пространству мировому
Я бы письменами ярких молний
Возвестить любовь к тебе хотел...

— Ну, кто? — прыгнув с пенька, спросила Тусси, в глазах ее плясали озорные чертики.

Маркс и Энгельс хохотали, Женнихен и Ленхен покатывались от смеха, Женни-старшая до того смеялась, что уже вытирала слезы.

Одна Лиза не понимала, в чем дело. Лишь смутно мелькала догадка. Женни? К какой Женни обращены стихи?

Тогда Тусси закричала, показывая на Маркса:

— Вот он, поэт! Слава великому поэту!

Она побежала к отцу. Но Маркс вскочил, увернулся, спрятался за дерево. Тусси бросилась его догонять.

— Давайте играть в русские горелки! — предложил Энгельс.

...Однажды Лиза должна была прийти к Марксу, но не смогла. Она плохо себя чувствовала.

В семье Маркса обеспокоились. Прибежали Тусси и Женни узнать в чем дело.

На другой день они снова пришли, принесли рецепт на лекарство и приказ от Маркса показаться врачу.

— И еще кое-что мы вам принесли, там вы найдете что-то знакомое, — хитро сощурившись, сказала Тусси и передала Лизе три тетради. — Мамочка никому не дает их читать, мы выпросили у нее для вас.

Это были юношеские стихи Маркса, среди них и те, которые тогда читали Женнихен и Тусси. Все они были посвящены Женни — «Моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален».

— Там он исповедовался маме. А здесь он исповедовался нам, — сказала Женни. — Мы тебе принесли еще альбом, развлекайся, чтобы не было скучно.

Альбом назывался «Исповеди». Тогда в Англии была распространена такая игра под девизом «Познай самого себя». У дочерей Маркса было собрано уже около сорока «исповедей» друзей, знакомых, близких людей. Конечно, тут были серьезные ответы и шутки.

Девушки склонились над «исповедью» Маркса. Вопросы были выведены ровным почерком Женнихен. Ответы писал он сам:

Достоинство, которое вы больше всего цените в людях *Простота*

В мужчине *Сила*

В женщине *Слабость*

Ваша отличительная черта *Единство цели*

Ваше представление о счастье *Борьба*

О несчастье *Подчинение*

Недостаток, который вы скорее всего склонны извинить *Легковерие*

Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение *Угодничество*
Ваше любимое занятие *Рыться в книгах*

Дальше шли вопросы о любимом поэте, о любимом герое, Маркс указал Шекспира, древнего поэта Эсхила, Спартака.

Исповедь оканчивалась вопросами: «Ваше любимое изречение?» и «Ваш любимый девиз?».

На это Маркс ответил двумя латинскими поговорками: «Ничто человеческое мне не чуждо» и «Подвергай все сомнению».

— Почему в женщинах больше всего надо ценить слабость? — сказала Лиза.

— Потому что мужчины тогда чувствуют себя сильными, — засмеялась Женни.

— Мы ему скажем, что он не прав. Женщина должна быть сильной, — возразила Тусси. — И наша мамочка не слабая, а сильная. Она никогда не показывает, как ей трудно. Мы ему выразим общий протест, — нахмутив брови, закончила она.

— Хорошо, мы это обязательно сделаем, — с улыбкой сказала Лиза. — А стихи я с большим удовольствием читаю.

Когда сестры ушли, Лиза открыла тетрадки. Она перелистывала уже пожелтевшие страницы, вчитывалась в этот неровный, порывистый юношеский почерк, старалась понять порой неразборчивые слова. Все здесь было полно глубокого чувства, нежности, все дышало любовью и преданностью к одной-единственной избраннице сердца. Все было «К Женни».

Женни! Смейся! Ты удивлена:
Почему для всех стихотворений
У меня одно название: «К Женни»?
Но ведь в мире только ты одна

Для меня источник вдохновений,
Свет надежды, утешенья гений,
Душу озаряющий до дна.
В имени своем ты вся видна!

Имя Женни — каждой буквой — чудо!
Каждый звук его чарует слух,
Музыка его поет мне всюду,
Как волшебной сказки добрый дух,
Как весенней ночи трепет лунный,
Тонким звоном цитры златострунной.

...Именем твоим, страниц не числа,
Тысячи могу заполнить книг
Так, чтоб в них гудело пламя мысли,
Воли и деяний бил родник...

Имя Женни я могу прочесть
В звездной зерни, и зефир небесный
Мне его несет, как счастья весть.
Я навечно буду вновь и вновь
Петь о нем — да станет всем известно:
Имя Женни есть сама любовь!

Лиза опустила на колени тетрадки, задумалась. Да, именно такой она и представляла себе любовь. Единственную, на всю жизнь... Чтобы понимать друг друга с полуслова, чтобы жить одним дыханием. Такую любовь не могут погасить ни годы, ни испытания... Такая любовь придает силы...

Она думала о том, какую огромную, нечеловеческую работу выполняет Маркс. И эти вечные неприятности. То нет денег для квартирохозяйки. То булочник и зеленщик требуют оплаты счетов. Лиза не раз присутствовала, когда приходили кредиторы.

Но, несмотря ни на что, в семье Маркса бодрость и дружба, взаимное уважение. Лиза заметила это с первого знакомства. И постоянное внимание к людям, забота о друзьях...

Лиза взглянула на рецепт, присланный Марксом. Она сейчас напишет письмо.

«Милостивый государь!

...Благодарю вас за рецепт на хлорал и в особенности за ту доброту, с которой вы заботитесь о моем здоровье. Конечно, я вовсе не хочу разрушать его, но, откровенно говоря, не люблю лечиться», — писала Лиза Марксу.

И дальше, вспоминая их недавний разговор о русской общине:

«...Что касается альтернативы^[7], которую вы предвидите в вопросе о судьбах общинного землевладения в России, то, к сожалению, распад и превращение его в мелкую собственность более чем вероятны.

...Я позволю себе послать вам номер «Народного дела», в котором разбирается этот вопрос, полагая, что у вас, возможно, нет полного комплекта этого журнала.

Вы несомненно знакомы с вышедшим в 1847 году трудом Гакстгаузена, в котором рассматривается система общинного землевладения в России. Если у вас случайно его нет, то прошу сообщить мне об этом. У меня есть экземпляр на русском языке, и я могу тотчас же послать его вам.

Этот труд содержит много фактов и проверенных данных об организации и управлении общин. В статьях об общинном землевладении, которые Вы теперь читаете, Вы увидите, что Чернышевский часто упоминает эту книгу и приводит из нее выдержки».

Лиза вспомнила, как тщательно Маркс изучает труды Чернышевского. На полке в шкафу стояло восемь томов произведений Николая Гавриловича. Маркс конспектировал их, делал выписки. На полях книг Чернышевского пестрели пометки черным, синим карандашом. В некоторых местах было написано по-русски «Хорошо!», в других — «Bravo!». У Маркса была толстая папка с вырезками статей Николая Гавриловича из журналов «Современник» и «Отечественные записки». Этой папкой он очень дорожил.

Заканчивая свое послание к Марксу, Лиза писала:

«Я не хочу, конечно, посягать на Ваше время, но если в воскресенье вечером у Вас найдется несколько свободных часов, то я убеждена, что Ваши дочери будут так же счастливы, как и я, если Вы проведете их вместе с нами.

Прошу передать от меня привет г-же Маркс и принять уверение в моем искреннем уважении.

Елизавета Томановская.

P. S. Жму руки мадемуазель Женни и Тусси. Извините за мое длинное письмо».

Лиза взяла со стола песочницу, присыпала песком непросохшие буквы, вложила письмо в конверт, заклеила облаткой. Завтра она его отправит. И — хватит болеть. Вокруг так много дел!

Она вскоре поправилась. Но начала думать об отъезде.

Все тревожней становилась обстановка. Газеты были полны сообщений из Франции. Там назревала революция. Лиза хотела ехать туда.

А здесь еще поступили вести из Женевы. Оказывается, бакунинцы обманным путем получили два документа за подписями членов Генерального совета.

Они извратили содержание этих документов и всюду доказывали, что их «Альянс» является составной частью

Интернационала.

Нужно было разоблачить фальшивую игру анархистов. Доставить в Женеву подлинные документы Генерального совета по вопросу отношения его к «Альянсу».

Маркс и Энгельс обеспокоены. Кто поедет?

— Разрешите мне выполнить ваше поручение, — говорит Лиза. — Я поеду в Женеву. А оттуда — в Париж.

Все понимают, как это опасно и трудно. Ведь, чтобы попасть в Женеву, нужно проехать через воюющую Францию. А потом снова пробраться в осажденный Париж.

Лизу пробуют отговаривать. Можно послать кого-либо из мужчин. Но она настаивает.

Маркс по-отечески ласково смотрит на Лизу. У этой девушки отважное, преданное революции сердце. Он не смеет ее удерживать.

На заседании Генерального совета Лизу назначают корреспондентом Генерального совета во Франции.

В начале марта Лиза выехала из Лондона.

На пристани у парохода ее провожала вся семья Маркса. Тут же были Лицци и Энгельс. Все волнуются, как доберется она, дают советы. Тусси дарит ей на память маленького черного трубочиста с метлой — говорят, он приносит счастье.

Лиза в последний раз прощается со всеми и всходит на палубу.

И вот уже убран трап. Пароход протяжно загудел.

Поплыли назад пристань, пакгаузы, портовые сооружения.

Лиза машет белым платком. Она еще различает своих друзей, дорогих, милых сердцу людей. Вон мелькнуло энергичное лицо Маркса, нежный профиль Женнихен, светлая пелеринка Тусси. Но вскоре все скрывается в тумане. Вокруг только свинцовые волны и над ними свинцовое небо.

ГЛАВА XXXI

Раннее утро. На Монмартре царит предрассветная тишина. Легкий ночной туман спускается с холмов, обнажая улицы, дома, деревья. На вершине холма, на площади Сен-Пьер, стоят пушки. Мерными шагами ходит часовой. Форма национального гвардейца ладно сидит на рослой фигуре.

Вдруг часовой остановился, прислушивается. Что за шум? Посыпалась галька. словно множество людей взбирается на Монмартр.

Неожиданно он увидел солдат. Зачем они здесь? Он успел заметить генерала... Сильный удар сзади свалил часового.

Солдаты устремились к пушкам.

Но жители Монмартра уже увидели солдат. Гулко ударил набат. Со всех сторон спешили люди — рабочие, ремесленники, женщины, дети. От казармы бежали национальные гвардейцы.

— Эти пушки наши, — говорит пожилой рабочий, выступив вперед. — Мы по крохам собирали на них деньги и сами отливали их вот этими руками.

И он потряс большими натруженными руками со вздувшимися жилами.

— Мы имеем приказ пушки отвезти в распоряжение правительственных войск, — говорит генерал. — Попрошу разойтись!

Но люди не уходят. Они еще тесней сгрудились вокруг пушек.

— Пушки принадлежат Национальной гвардии, — говорит начальник гвардейцев. — И мы их не отдадим.

— Взять пушки! — командует генерал.

Несколько солдат бросается к пушкам.

Тогда из толпы выходит седая женщина и, раскинув руки, становится перед пушкой.

— Сынок, — говорит она, обращаясь к безусому пареньку, — пушки эти наши. Я недоедала — отдала на них последний кусок...

— Ружья наизготовку! — командует генерал.

Женщина с ребенком на руках становится возле старухи.

— Стреляйте! — говорит она. — А пушки мы не отдадим!

Рядом с этой женщиной становится другая, третья, мужчины, подростки. И вот они стоят друг против друга — простые жители рабочей окраины и люди в шинелях. Генерал взбешен.

— Приготовиться! — кричит он. — Пли!

Но что это? Выстрелов нет. Еще и еще раз командует генерал, а солдаты один за другим опускают винтовки дулом вниз. Они не хотят стрелять. Они такие же простые люди, плоть от плоти и кровь от крови собравшегося здесь народа.

Пушки остались на Монмартре. Их не смогли отнять и в других рабочих районах, в Бельвиле, Батиньоле. Пушки, которые действительно были сделаны на деньги, собранные народом, когда враг подступал к Парижу, остались у народа. А офицеры, приказывавшие стрелять в народ, были арестованы.

Это произошло 18 марта 1871 года. Так началась революция в Париже.

В этот день Национальная гвардия, армия народа, двинулась к центру, заняла правительственные учреждения, казармы, вокзалы. Над Ратушей взвился красный флаг.

«Парижские пролетарии, видя несостоятельность и измену господствующих классов, поняли, что для них пробил час, когда они должны спасти положение, взяв в свои руки управление общественными делами... Они

поняли, что на них возложен этот повелительный долг, что им принадлежит неоспоримое право стать господами собственной судьбы, взяв в свои руки правительственную власть», — писал Центральный Комитет Национальной гвардии в своем манифесте 18 марта.

Буржуазное правительство Тьера в страхе бежало в Версаль. А через несколько дней, 26 марта, народ избрал свое правительство.

28 марта на Гревской площади, перед Ратушей — море людей. Под барабанный бой выстраиваются батальоны национальных гвардейцев со знаменами, украшенными фригийским колпаком — символом свободы. На ружьях — красная бахрома, на штыках — алые ленточки. Рядом с гвардейцами — рабочие в синих блузах, ремесленники, мелкие лавочники, женщины, дети. У всех в петлицах гвоздики, красные розетки. Народу так много, что не вмещает площадь. Люди заполнили набережные Сены, улицы Риволи, Севастопольский бульвар.

У центрального входа в Ратушу — возвышение. Здесь, на фоне кумачовых знамен, статуя Французской Республики. Величавая женщина с алой лентой через плечо.

Под торжественные звуки «Марсельезы» на возвышение поднимаются опоясанные красными шарфами члены Парижской коммуны. За них голосовал народ.

С трибуны прочитан список избранных.

— Да здравствует Республика!

— Да здравствует Коммуна! — вырывается из тысяч уст.

В воздух летят шапки. Гвардейцы машут своими федератками, надетыми на штыки. Из окон, с крыш, с балконов тянутся сотни рук, бросают цветы. Гремят пушки, бьют барабаны. Победно звучат фанфары.

Именем народа Коммуна провозглашена.

У многих на глазах слезы. То, о чем они мечтали, о чем говорили на собраниях Интернационала, за что боролись во время стачек, свершилось. Отныне власть принадлежит народу. Создано первое в мире рабочее правительство. Долой нищенскую жизнь, эксплуатацию человека человеком! На их знамени будет написано: «Свобода, равенство и братство».

Веселые звуки «Карманьолы» разносятся по площади. То тут, то там вспыхивает песня.

Станцуем карманьолу
Под гром пальбы.

Черноволосая цветочница пустилась в пляс. Люди отодвигаются, образуют круг. Молодой мастерской подмигнул цветочнице и, подбоченясь, пошел рядом. И вот уже танцует седоусый рабочий и старая женщина с красными руками прачки.

Песня перекинулась дальше:

Молотобоец, возле горна
Кузнец, моряк на корабле,
Шахтер, в дыре сокрытый черной,
И старый пахарь на земле!
Вас буржуа лишает хлеба,
Суля на небе радость дней...
Одна издевка! Пусто небо,
А наши ямы все полней!

Иди же, Марианна^[8],
И будет враг разбит.
Буди — уже не рано —
Того, кто спит!

Поют и танцуют уже по всей площади. Французы любят петь и плясать. Разрушив Бастилию, они на ее обломках водрузили гордую и дерзкую надпись: «Здесь танцуют!»

Анюта вместе с Андре Лео стоит недалеко от трибуны. Сегодня исполнилось то, за что боролась она со своими друзьями, за что сидел в тюрьме ее муж. Сейчас он — начальник войск Монмартра, член Центрального Комитета Национальной гвардии. Это он во главе своих гвардейцев арестовал тогда генерала. И Анюта вместе со всеми отвоевывала пушки. Теперь, хотя еще очень трудно, под стенами Парижа стоят пруссаки, из Версаля угрожает правительство Тьера, они верят: Коммуна победит!

Но нельзя терять ни дня, ни часа. Предстоит так много работы. Все нужно перестраивать заново. Вот когда женщины сумеют себя показать. Везде, и в самых трудных делах, они постараются быть рядом с мужчинами.

Прямо с площади Андре Лео и Анюта спешат на женское собрание, в церковь св. Петра на Монмартре.

По узкой лесенке подруги поднимаются на Монмартр. Монмартр — район рабочих и поэтов. Здесь на холмах, в самой высокой части Парижа, в комнатухах, в подвалах ютятся каменщики, слесари, столяры, а рядом с ними, на чердаках и мансардах, живут начинающие художники, литераторы. И хотя почти никогда ни у кого нет денег, народ здесь веселый, неунывающий.

Богатый буржуазный Париж боится и недолюбливает жителей Монмартра. Стоит бросить клич: «Монмартр спускается вниз!» — как все, побросав лавки и склады, испуганно прячутся по домам, закрывая двери и ставни.

Никогда еще церковь св. Петра не видела столько народа. Уже заполнены все скамьи внизу и на хорах, а женщины все идут и идут, многие с детьми.

На кафедре, где обычно читал проповедь священник, водружено красное знамя. По стенам, рядом со статуями святых, развешаны плакаты: «Да здравствует Коммуна!», «Пусть церковь не мешает строить новую жизнь!», «Женщины, отстоим Коммуну от врагов!». Церковный орган вместо молитвенных гимнов неожиданно грянул «Марсельезу».

На трибуне учительница Луиза Мишель, «красная дева Монмартра», как ее называет Париж.

— Гражданки свободной Франции! Вчера свершилось небывалое в истории событие: трудовой народ установил свою власть. У нас с вами теперь много дела. От начала до конца все нужно строить заново. Мы...

В это время в дверях послышался шум.

— Попался, бандит!

— Вор!

Женщины выталкивают на середину невысокого, с толстой физиономией лавочника.

— Говори, мерзавец, что ты сейчас делал?

— Я, ничего... — лепечет лавочник.

— Врешь! Поджигал свою лавку, чтобы не досталась народу!

— Мало ты с нас крови высосал! Почему продавал муку, а ну-ка вспомни! — раздаются гневные возгласы.

— К стенке его!

Лавочника хватают.

— Подождите! — говорит Луиза. — Мы его предадим революционному суду. Жаннета, Люсиль, Мари, ведите его в трибунал!

Трое женщин уводят лавочника. Однако шум не утихает. Женщины возбуждены.

— Надо переловить всех лавочников! Это враги!

— И попов тоже!

— Кто хочет сказать — выходите сюда, — говорит Луиза Мишель.

— Иди, Катрин, иди, — подталкивают подруги женщину, кричавшую с места. — Выйди и скажи.

— А что ж, и скажу! — Она выходит вперед. — Я хочу сказать: кто у нас сосет всю жизнь кровь? Буржуа. Кто взвинтил цены на продукты в Париже? Буржуа. Они живут в хоромах, а мы в лачугах. Прогнать надо буржуа, а их богатства отдать народу.

— Молодец, Катрин, правильно!

— А я вот что скажу, — встает другая женщина с грудным ребенком на руках.

— Давай сюда малыша, — соседка забирает ребенка. Женщина идет к трибуне.

— Попы тоже тунеядцы, — говорит она. — Они только голову морочат своими сказками. Надо церкви превратить в мастерские, и пусть буржуа и попы работают вместе со всеми.

— Верно! Долой попов!

Анна Жаклар тоже хочет поделиться своими мыслями.

— Гражданки француженки! Я русская. Но то, что здесь произошло, в Париже, касается не только французов. Коммуна дорога и русским, и полякам, и другим народам. Она — первая искра пожара, который может загореться во всех странах. Я призываю женщин наравне с мужчинами бороться за нашу Коммуну!

Анюта говорит горячо и страстно.

Гром рукоплесканий раздается в ответ.

— Виват русской!

— Да здравствует Коммуна во всем мире!

Собрание кончилось около полуночи. Был избран Комитет бдительности, куда вошла и Жаклар.

По узким кривым улицам Анна спешит домой. Жаклары живут теперь на Монмартре. Уже во многих домах темно, но на центральной площади и в кафе еще полно народа.

Виктор только что пришел. Анна приготавливает ужин, рассказывает о женском собрании.

Утром к Анюте зашла Андре Лео Совет Коммуны поручил им издание новой газеты.



Анна ведет подругу в типографию, где она работала. Ворота закрыты. Видно, хозяин, как большинство владельцев, сбежал с правительством в Версаль. Они находят сторожа, дядюшку Жана. Идут по опустевшим помещениям. Всюду пыль и грязь, валяются обрывки газет.

Анна хозяйским взглядом осматривает все, подходит к наборным столам, выдвигает ящики. Нигде нет шрифта. И многое оборудование вывезено или поломано.

— Придется все налаживать заново, — говорит она.

— Ничего, сообщая все сделаем. Теперь мы хозяева, — отвечает Андре Лео.

31 марта мальчишки на улицах уже продавали газету. Газета «La Sociale» выходила ежедневно вечером. В ней печатались серьезные статьи по социальным вопросам и освещались дела Коммуны.

А дел было много.

Рабочий Тейс стал во главе почтового ведомства. Переплетчик Варлен управлял финансами. Бедняки из чердаков и подвалов переселились в богатые особняки бежавших буржуа. Им возвращены заложенные в ломбардах вещи. Церковь отделена от государства. Преобразуется школа.

— Наша школа должна воспитывать свободного, гармонично развитого человека, — говорит член Коммуны, писатель Жюль Валлес. — Школу нужно освободить от влияния церкви. И уничтожить в ней дух преклонения перед богатством. Обучение будет всеобщим и бесплатным.

Анна Жаклар участвует в комиссии по созданию новой школы.

Окруженная детьми, Аня входит в здание женского монастыря. Здесь еще недавно жили монахини. Запах ладана и каких-то трав ударяет в нос. По углам статуи святых, на стенах картины с ангелами.

Дети несмело столпились у входа, жмутся к Ане.

Аня широко распахивает окна. Свежий ветер врывается в комнату, треплет занавески, шелестит листьями брошенных молитвенников.

— Не бойтесь, — говорит Аня. — Снимайте вот эту картину — здесь мы повесим географическую карту. Эти статуи несите в чулан. Девочки, бегите домой за тряпками и ведрами. Будем все мыть, скрести. А ты, Жак, достань краску. Мы замажем у входа молитвы и напишем крупно: «Школа».

Анна рассказывает детям, что они будут проходить, как заниматься. А сама думает о том, что ей еще сегодня нужно составить списки женщин, желающих получить работу, и подготовиться к выступлению в клубе.

Как все, Анна работает столько, сколько возможно и сколько невозможно. Как все, она хочет скорее построить светлое здание нового государства.

ГЛАВА XXXII

— Соня, — говорит Вейерштрасс, возвращая Ковалевской тетрадку, мелко исписанную выводами и формулами. — Ты сказала в науке новое слово. Эта теорема, которую ты доказала, войдет в математику под твоим именем. Она даст ключ к решению многих задач.

Вейерштрасс серьезен, даже торжествен.

— Еще одна такая работа — и ты можешь получить звание доктора, — говорит он.

Софья смотрит на своего дорогого учителя, которому она стольким обязана, с которым ее связывает теплое взаимопонимание и трогательная дружба. Она взволнована.

— Как я хотела бы получить звание доктора. И не только потому, что это мне лестно. А еще затем, чтобы доказать, что женщины способны не хуже мужчин заниматься наукой.

— Ну, положим. Ты — это ты. Талант. Исключение, — говорит Вейерштрасс.

Софья вспыхивает.

— Почему я — исключение? А Юлия? А Жанна? А Сулова? И вы не верите... Даже лучшие из людей...

— Ну ладно, не сердись. Постараюсь больше не задевать твою женскую гордость. А то ты тогда похожа на кошку, распушившую хвост. Вот-вот вцепится когтями. У тебя ведь и глаза желто-зеленые, как у кошки, — смеется Вейерштрасс. И тотчас же становится серьезным: — Тебе нужно браться за решение новой проблемы.

— Я сейчас не могу, — грустно говорит Софья. — Я очень тревожусь — что с Анютой. От нее нет никаких известий.

С тех пор как Анята уехала в Париж, писем не было. Об этом уж позаботился Тьер — заблокировать революционный город. Чтобы ни одна весточка не просочилась за его стены — иначе вспыхнут восстания солидарности в других городах страны. Тысячи полицейских комиссаров рыскали в окрестностях Парижа. То тут, то там пылали костры из революционных газет, которые люди все же как-то ухитрялись вывозить из города.

Софья не могла заниматься, не могла спать. Она садилась за письменный стол, брала свои тетради. Но они так и оставались неоткрытыми.

Ночью она вскакивала с постели, кричала во сне. Ей казалось, что Анята ранена, стонет, зовет ее.

— Я больше не могу, — говорит она Юлии. — Я поеду в Париж.

— Но это невозможно. Туда же никого не пускают.

— Попробуем. Я напишу Владимиру.

Вот уже более двух лет Ковалевский живет в Мюнхене. Он слушает лекции в университете и пишет диссертацию. Давно им владеет одна идея.

Великий натуралист Чарлз Дарвин, с которым Владимир был лично знаком, труды которого переводил и издавал в России, открыл закон развития живой природы. Одни виды животных происходят от других. Они возникают путем естественного отбора наиболее приспособленных.

А как происходило в доисторические времена? Как изменялся животный мир в эпоху огромных ихтиозавров, динозавров, цератопсов? В палеонтологии ничего не было об этом известно. Ученые считали, что виды ископаемых животных существовали независимо друг от друга.

Ковалевский в это не верил. Безусловно, и тогда жизнь развивалась эволюционно. Но где доказательства, факты?

Ковалевский поставил перед собой задачу проследить развитие хотя бы одного животного от древних времен до наших дней, отыскать исчезнувшие звенья.

Он выполняет колоссальную работу, ездит по городам Европы, посещает музеи, частные коллекции, бывает в местах раскопок. Изучает огромное количество костей, каменных отпечатков, обломков скелетов. Всюду делает зарисовки, проводит сравнения, снимает слепки.

А сам в это время живет плохо, кое-как зарабатывает переводами, зачастую голодает.

«На днях я заложил часы и мелочи».

«...Решил завтра понести в заклад всякое платье».

«Дарвина не видел, поеду к нему 1 сентября, если не поколею с голоду до тех пор», — пишет он брату.

Однако он видит, что труд его увенчался успехом. Он нашел далеких предков современной лошади и проследил их эволюцию. Диссертация почти готова.

Это было большое, смелое открытие. Подтверждение теории Дарвина для древнейших времен. Рождение новой науки — эволюционной палеонтологии.

Иногда Ковалевский приезжал к Софье. Дни были наполнены радостью свидания, разговорами, смехом, прогулками за город. Но отношения оставались прежними. В них было и счастье и горечь несбывшихся желаний. Владимир, как и раньше, любил своего маленького бойца науки и мечтал, что, может быть, потом, когда они кончат занятия... Пока это были лишь сладкие мечты...

Он только что вернулся из поездки. На столе его ждало письмо от Софьи.

Он сразу стал собираться в дорогу. Ему очень надо было закончить раздел своей работы. Пока свежи были в памяти результаты изысканий.

Но он не раздумывая оставил все и уехал.

И вот они уже близ Парижа. Город окружен кольцом прусских и версальских войск.

Рискуя жизнью, Ковалевские пробираются в какую-то деревню, достают лодку и ночью плывут вниз по течению Сены.

Сену сторожат, простреливают неприятельские войска. Все же каким-то чудом Ковалевским удается достичь ворот Парижа.

Здесь уже были свои. Часовые знали Жаклара. Ковалевских направляют на Монмартр.

В городе беспокойно. Уже четвертый день, как версальские войска начали штурм революционного Парижа.

Не смолкает канонада. Пронесут раненых. Всюду на стенах домов, на киосках, на афишных тумбах расклеены прокламации ЦК Национальной гвардии. Они призывают к борьбе.

На улице Вивьен Ковалевские увидели отряд женщин. Шли молоденькие девушки и седые старухи. У всех через плечо ружья, пороховницы на поясе. Впереди молодая женщина в черном платье, в тирольской шапочке с кокардой. Она идет легким упругим шагом. Ветер развеивает концы красного шарфа, повязанного вокруг талии. За поясом у нее револьвер.

Софья смотрит на командира. Почему ей так знакома эта женщина? Где она видела ее лицо?

Отряд уже прошел мимо.

— Владимир, — говорит Софья, — это же «Пиза. Я не ошиблась — это «Пиза Томановская, помнишь в Петербурге...

Софа бежит за отрядом и зовет Томановскую. Женщина в тирольской шапочке оборачивается. Конечно же, это она! Но какая уверенность в каждом движении, какая выправка. Настоящий командир!

Лиза подбегает к Ковалевским.

— Как вы к нам попали? — говорит она удивленно. — Здесь меня не зовут Томановской. Я — Елизавета Дмитриева. Это в целях конспирации.

Лиза рассказывает про дела в Париже.

— Здесь борются не только французы. Много русских. Тут Лавров. И поляки Врублевский, Домбровский. И венгр Франкель.

Она подтверждает, что Жаклары живут на Монмартре.

— Только дома вы их сейчас не застанете. Они на митинге. Идите на площадь Тертр.

— Если будет потише, я вечером к вам забегу! — кричит Лиза уже издали, догоняя свой отряд.

Ковалевские почти бегом бросаются к площади Тертр на Монмартре. Здесь много народа.

Софья ищет сестру. Но ее не видно.

Посреди площади на перевернутом ящике стоит высокий, слегка сутулый человек с длинными, отброшенными назад волосами, круглой бородкой и живыми карими глазами. Через плечо у него повязан красный шарф делегата Коммуны.

— Граждане! Настал решительный час. Враг наступает. Не верьте тем, кто говорит, что Тьер не посмеет громить Париж. Это вас хотят ввести в заблуждение. Тьер — наш классовый враг, и он пойдет на крайние меры. Отдадим все силы в борьбе за нашу Коммуну. Все, кто может держать оружие, на форты, на баррикады!

— Правильно, Варлен!

— Вперед за Коммуну!

— Да здравствует свобода!

— Я скажу так, — выходит вперед старая женщина. — Мне уже много лет, но свет я увидела только при Коммуне. Все мои три сына сражаются на фортах, и я буду драться рядом с ними. Ничего, сумею

держат шаспо^[9]. А не хватит на меня шаспо, есть камни на мостовой.

— Молодец, старуха!

— Правильно, мамаша Пуарье!

И вдруг Софа вздрогнула и схватила Владимира за руку:

— Анюта!

Анюта вскакивает на ящик. Она немного похудела и стала более строгой. В голубых глазах исчезло мечтательное выражение и зажглись суровые огоньки.

— Женщины Монмартра! — говорит она. — Враг начал наступление. На фортах и у ворот идут жестокие бои. Есть раненые. Нам необходимы сестры милосердия. Чтобы перевязывать раненых, а если нужно — взять ружье и встать рядом с мужьями и братьями. Отстоим Коммуну!

— Отстоим! — как эхо проносится по площади.

Сердце Софы переполняется гордостью за свою сестру. Только так и может говорить ее Анюта!

— Кто запишется в отряд сестер милосердия? — спрашивает Анна, и со всех сторон тянутся руки.

— Меня запиши, гражданка Жаклар!

— Меня, Аннет!

Здесь все знают свою Аннет. Она ведь секретарь женского Комитета бдительности на Монмартре.

Софья пробирается к сестре.

— Софа! Во сне это или наяву? Как ты сумела к нам попасть, родная ты моя девочка, — говорит Анюта, обнимая сестру и тормоша ее, словно действительно желая убедиться, не призрак ли перед ней.

— И Володя здесь! Пойдемте, я доведу вас до дома, вы отдохнете. А мне нужно скорее идти в госпиталь.

— Я с тобой, — говорит Софа.

По дороге она рассказывает Анюте о встрече с Томановской.

— Да, Лиза с нами. Она приехала сюда на второй день после провозглашения Коммуны. Была в Лондоне у Маркса, но не смогла там оставаться, когда тут такие жаркие дела.



Лиза очень предана революции и очень энергична. Она собирает всех женщин Парижа в Союз.

Сестры поворачивают на улицу Мирра. Госпиталь. Приносят все новых раненых. Не хватает коек. Девушки в белых косынках с красным крестом стараются успеть повсюду. Они и за санитарок, и за сестер, и за врачей. Врачей мало. Лекарств тоже.

— Софа, — говорит Аня, — вот тебе белый халат, будешь помогать.

Она открывает дверь в палату и зовет:

— Катя!

К ним выходит молодая женщина со смуглым лицом и твердо очерченным подбородком. Карие глаза ее смотрят внимательно и чуть устало.

— Это Катя Бартенева, — обращается Аня к сестре. — Ты будешь в ее распоряжении.

— Знакомься, Катя, моя сестра.

— Я очень рада, — говорит Катя, — нам так нужны люди.

Софа проходит в палату. По стенам тесными рядами стоят койки. В проходах тоже. Только что принесли тяжелораненого. Он без сознания. Ранен в голову. Кровь алым пятном расползается по повязке, сделанной наскоро на поле боя.

Катя осторожно снимает бинты, промывает рану. И хотя Софа с детства боится крови, она помогает Кате.

Не умолкает канонада. Где-то совсем близко разорвался снаряд. Из окон посыпались стекла.

— Почему не стреляете? Дайте мое шаспо. Вперед за Коммуну! — бредит раненый.

Софа берет его за руку, подносит к губам чашку с водой.

— Успокойтесь, — говорит она. — Ваше шаспо в надежных руках. Мы никому не отдадим нашу Коммуну.

ГЛАВА XXXIII

Женщины с ведерками и кистями ходят по улицам, расклеивают прокламации. У прокламаций сейчас же собирается народ.

«К гражданам Парижа!

Париж подвергнут блокаде. Париж подвергнут бомбардировке... Гражданки, где наши дети, наши братья и наши мужья? Слышите ли вы рев пушек и священный призывный звон тревоги?

К оружию! Отечество в опасности!

...Эта борьба насмерть — конечный акт вечного антогонизма между правом и силой, трудом и эксплуатацией, народом и его палачами.

Наши враги — это привилегированные существующего строя, все те, которые всегда жили нашим потом и жирели нашей нуждой.

Они видели, как народ восстал, восклицая: «Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей. Мы хотим труда, но чтобы самим пользоваться его плодами. Не надо эксплуататоров, не надо хозяев. Труд и благосостояние для всех, самоуправление народа, Коммуна! Жить и работать свободно, или умереть в борьбе!»

И вот страх предстать пред народным судом побудил наших врагов к величайшему преступлению — гражданской войне.

Гражданки, настал решительный час! Надо покончить со старым миром! Мы хотим быть свободными! И не одна Франция теперь поднимается, глаза всех цивилизованных народов направлены на Париж, они ждут нашей победы, чтобы в свою очередь освободиться. Даже Германия, королевские армии которой опустошили наше отечество, обрекая на смерть

его демократические и национальные стремления, — даже она потрясена и опалена дыханием революции. Вот уже шесть месяцев, как она на осадном положении, а ее депутаты в тюрьме. Даже в России едва гибнут защитники свободы, как на их место появляется новое поколение, готовое в свою очередь бороться и умереть за республику и социальное переустройство...

Гражданки, примем решение объединиться, поможем нашему делу!.. К воротам Парижа, на баррикады!.. И если оружие и штыки разобраны нашими братьями, у нас останутся еще булыжники с мостовой, чтобы сразить ими изменников...»

Люди толпятся возле афиш, читают молча или говорят с соседями. Они потрясены глубокой убежденностью и страстностью строк. Особенно взволнованы женщины. Это ведь к ним обращены слова призыва.

— Куда? К кому идти? — спрашивают они.

Воззвание подписано несколькими француженками и Дмитриевой. Это, видимо, русская. Они слышали о ней. Кто-то видел ее во главе отряда женщин. И в секции Интернационала, на улице Аррас, 3...

Они не ошиблись. Все свое время, все свои силы Лиза отдавала Коммуне.

Сразу же по приезде она начала собирать женщин. Вместе со своими французскими подругами написала воззвание. Она постаралась внести в него дух Интернационала. О, теперь она знала, о чем говорить, не так, как тогда на Никольском рынке. И все же она волновалась — откликнутся ли парижские женщины? Дойдут ли до их души и сердца те думы, которые день и ночь жгли ее? Почувствуют ли они, что именно теперь настал час — победить или умереть?

Прошло два дня. На 9 апреля в гимназии на авеню Монтень был назначен митинг. Здесь должно было быть положено начало Союзу женщин.

Женщины стали собираться. Идут поодиночке, идут целым домом, кварталом, идут толпой. Работницы, прачки, модистки, консьержки^[10], продавщицы магазинов. Заполнен самый большой зал в гимназии, классы, коридоры. Женщины толпятся у входной двери, на улице. Уже невозможно ни выйти, ни войти.

На первое собрание пришло около двух тысяч. Все они записались в Союз. В каждом из двадцати округов Парижа был создан комитет.

Женщины спешно учились владеть оружием, перевязывать раненых. «Коммуна или смерть!» — таковы были сейчас их цель и смысл жизни.

24 апреля Лиза писала в Лондон, секретарю Генерального совета Герману Юнгу:

«Милостивый государь!

По почте отправлять письма невозможно, всякая связь прервана, все попадает в руки версальцев... Я вам послала телеграмму из Кале и письмо из Парижа, но с тех пор, несмотря на все мои поиски и расспросы, я не могла найти никого, кто бы собирался в Лондон...

Мы поднимаем всех женщин Парижа. Я созываю публичные собрания. Мы учредили во всех округах в помещениях мэрий женские комитеты и, кроме того, Центральный Комитет... Мне приходится выступать каждый вечер, много писать... Если Коммуна победит, наша организация превратится из политической в социальную, и мы образуем секции Интернационала. Эта идея имеет большой успех. Наши собрания посещают от трех до четырех тысяч женщин...

Дела Коммуны идут хорошо, но в начале было совершено много ошибок.

...Как вы поживаете? Я всегда вспоминаю о всех вас в свободное время, которого у меня, впрочем, очень мало. Жму руку вам, вашей семье и семье Маркса. Что поделывает Женни?

Если бы положение Парижа не было таким критическим, я очень хотела бы, чтобы Женни была здесь. Здесь столько дела.

Лиза».

Все чаще завязывалась перестрелка между парижанами и версальцами. На фортах, у ворот происходили бои. Женщины сражались вместе с мужчинами. В черных платьях, подпоясанных красными шарфами, в федератках с алыми кокардами национальных гвардейцев, они своей бодростью и бесстрашием поддерживали мужество коммунаров. Их звали амазонками. Про них сложили песню:

Так изящны и столько в них склада,
Что любая годна для парада!
Это лучший во Франции полк,
Пусть возьмут это тьеровцы в толк!
Ну и храбры же наши девчонки!
Носят все, как одна, амазонки.
На версальцев, сплотясь в батальон,
Льют горячий свинцовый бульон!

Эту песню распевали в домах и на улицах, под звуки этой песни маршировали национальные гвардейцы. Амазонками гордился весь Париж.

Когда какая-то группа женщин, напуганная частой перестрелкой, расклеила по городу афиши, в которых призывала к примирению с Версалем, амазонки ответили:

«...Требовать примирения между свободой и деспотизмом, между народом и его палачами!

Нет! Не мира, а войны, — войны без пощады, — вот чего требуют парижские работницы!

Примирение было бы теперь равносильно измене, отречению от всех верований рабочего класса...

Париж не уступит, потому что знамя его есть знамя будущего.

Пробил решительный час... Да здравствуют рабочие! Долой палачей!

Больше действий, больше энергии!..

Парижские женщины докажут Франции и всему миру, что они также способны в минуту крайней опасности, наравне со своими братьями, проливать кровь на баррикадах, на укреплениях и у ворот Парижа... Парижские женщины решились дружно защищать Коммуну...

Да здравствует всемирная социальная республика! Да здравствует труд! Да здравствует Коммуна!

Члены ЦК Союза женщин: Лемель, Жакье, Лефевр, Лелю, Дмитриева».

— Молодцы амазонки, хорошо ответили! — говорили парижане.

— Долой нечисть!

Люди всюду срывали предательские афишки и топтали их ногами.

В Лондоне Генеральный совет делал все возможное для поддержки Коммуны. Маркс и Энгельс напряженно следили за развитием событий во Франции. В апреле Маркс сделал доклад на заседании Генерального совета, в мае заслушали сообщение Энгельса. В разных странах были организованы выступления рабочих.

Маркс и Энгельс разослали сотни писем во все концы света в защиту Коммуны. Маркс работал над воззванием о Парижской коммуне.

«Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность к самопожертвованию у этих парижан! После шестимесячного голода и разорения, вызванного гораздо более внутренней изменой, чем внешним врагом, они восстают под прусскими штыками, как будто бы враг не стоял еще у ворот Парижа! История не знает другого примера подобного героизма!» — писал Маркс.

Они остро переживали те промахи, которые допускала Коммуна. Почему коммунары не пошли сразу на Версаль, чтобы обезоружить правительство и не дать ему собраться с силами? Почему не конфискованы ценные бумаги и деньги?

«Труднее всего понять то благоговение, с каким Коммуна почтительно остановилась перед дверьми Французского банка», — писал Энгельс.

Маркс старался держать связь с деятелями Коммуны. Находил верных людей и передавал с ними устно и письменно свои советы, соображения. Он вел переписку с членами Интернационала Франкелем и Варленом.

«...Уже из нескольких строк Вашего последнего письма явствует, что Вы сделаете все возможное, чтобы разъяснить всем народам, всем рабочим, и в особенности немецким, что Парижская коммуна не имеет ничего общего со старой германской общиной. Этим Вы окажете, во всяком случае, большую услугу нашему делу», — писал Франкель.

Маркс просил прислать в Лондон для опубликования все бумаги, компрометирующие правительство Тьера. Он предостерегал коммунаров о сговоре между версальцами и немцами. Разоблачал предателей, пробравшихся в Коммуну.

— Это первое в истории правительство рабочего класса. Но у них еще нет твердого руководства. Наряду с влиянием рабочих есть и чуждое влияние, — с горечью

говорил он Энгельсу. — Нам нужно больше работать, укрепить Интернационал. Создавать во всех странах единую рабочую партию, которая могла бы руководить восстанием. Только так придет победа!

ГЛАВА XXXIV

Гулкие, частые удары колоколов неслись над Парижем. Тревога, тревога! Все, кто может держать ружье, вперед на защиту Коммуны! Версальцы прорвались через ворота Сен-Клу. Враг вошел в Париж!

Отовсюду бежали люди. Проскакала конница генерала Домбровского. У казарм строились гвардейцы. Старики, женщины, дети таскали для баррикад бревна, доски, мешки с землей, волокли комоды, кровати, чугунные ограды, выворачивали камни из мостовой. Париж готовился к отчаянной схватке.

Баррикаду на площади Бланш защищает отряд женщин. Коммунарки приносят на баррикаду две пушки, ящики со снарядами. Наводчицы заряжают орудия. У узких амбразур между камнями и мешками с песком застыли женщины-стрелки.

После полудня на площади показались версальцы. Вот они приближаются к баррикаде.

— Огонь!

Одновременно из обеих пушек вырываются языки пламени. Передние ряды версальцев падают, в задних происходит замешательство. Офицер кричит, показывая рукой на баррикаду. Снова залп. Когда дым рассеивается, видно, что офицер лежит на земле, а солдаты бегут к домам, прячутся в подворотни.

Но вот на крыше дома версальцам удается установить митральезу. Ее огонь выводит из строя пушку на баррикаде. Наводчица убита. Много раненых.

Версальцы теперь смелее наступают на коммунарок. Вот уже совсем близко видны их синие куртки и красные штаны.

— Гражданки! Умрем, но не сдадимся! — Развернув красное знамя, Елизавета Дмитриева во весь рост

становится на баррикаде.

— Да здравствует Коммуна! За мной!

Она бежит вперед. Ее длинные черные волосы развеваются по ветру. Пуля ранит Лизу в руку. Кровь струится по платью. Но она не выпускает знамя.

— Ура!

С ружьями наперевес женщины устремляются за Лизой.

Солдаты Тьера не ожидали такого натиска. Они обращаются в бегство.

На другой баррикаде с утра шел ожесточенный бой. Версальцев было втрое больше, и все же коммунары продолжали сдерживать натиск противника. К вечеру из тридцати защитников баррикады осталось восемь. Черные от пороха, изможденные, в лохмотьях коммунары едва стоят на ногах. Но они полны решимости драться. Коммуна или смерть!

Только что отбита атака версальцев. Это уже шестая за сегодняшний день. Правая часть баррикады разрушена. Тут же, под огнем противника, женщины и дети подвозят на тачках камни, мешки с песком. Ядром сбило красное знамя. Пятнадцатилетний подросток поднял знамя и, держа его в руках, встал на верху баррикады. Пронзенный пулей, он упал. Знамя подхватил другой подросток. В этот момент версальцы ворвались на баррикаду.

Мальчик успел сорвать с древка знамя и спрятать его на груди. Но как его спасти?

Версальцы окружили последних защитников баррикады. Коммунары поставлены к стенке. Сейчас раздадутся выстрелы — и все будет кончено.

«А как же знамя?» — думает мальчик.

— Разрешите мне пойти проститься с моей матерью, — говорит мальчик. — Она живет напротив. Я через пять минут возвращусь.

Офицер посмотрел на мальчугана. Хотя это коммунар, но он совсем еще ребенок, ему не больше двенадцати — тринадцати лет, столько, сколько его сыну. Хитрость его ясна. Конечно, он не вернется. Но беда не велика. Теперь этот мальчишка на всю жизнь запомнит урок и не станет больше бунтовать.

— Иди, — коротко бросил офицер.

Мальчик как стрела сорвался с места. Он вернулся через четверть часа. Знамя было спрятано надежно. У стены лежали расстрелянные коммунары. Мальчик встал рядом с мертвыми.

— Пли! — скомандовал офицер, и голос его неожиданно дрогнул. Прозвучал одинокий выстрел. Мальчик упал.

Париж сражался яростно. Среди разрушенных домов, под градом снарядов горсточки коммунаров сдерживали натиск врага.

Но силы были слишком неравны. На одного коммунара приходилось более десяти версальцев.

23 мая солдаты Тьера подошли к центру города. 24 мая пал Монмартр. Над Парижем пылало красное зарево пожаров. Клубы дыма застилали воздух. Горели здания Государственного совета, Министерства финансов, Почетного легиона, дворца Тюильри. Пламенем охвачена Ратуша — оплот революционного Парижа.

Бои идут за каждый дом, за каждую пядь земли. Но кольцо все сжимается.

28 мая пала последняя баррикада.

Отстреливаясь на ходу, Жаклар вбежал в проходной двор и оттуда — в дом на бульваре Вольтера.

Здесь когда-то жил его друг студенческих лет, аптекарь Манж. Он умер несколько лет назад. Осталась жена. Рядом с квартирой она содержала небольшую аптеку.

Жаклар позвонил три раза.

— Входите скорее, — сказала молодая женщина, открывая дверь. Она повела Жаклара в комнату и положила перед ним костюм своего мужа.

Жаклар переоделся. Сбрил усы и бороду. Долго тер мылом лицо и руки, чтобы смыть пороховую гарь.

— Ну, как Верморель? — спросил он.

Верморель был видным деятелем Коммуны. Вместе с Жакларом он дрался на баррикаде и накануне был тяжело ранен. Жаклар с товарищами принесли его к Манж и спрятали на чердаке аптеки.

— Он ослаб от потери крови. Вечером вы к нему пройдете, — говорит Манж. — А сейчас вам лучше идти в заднюю комнату аптеки, готовить там какие-нибудь смеси. Я скажу, что вы мой помощник, — ведь могут нагрянуть версальцы.

Однако опасения ее оказались напрасными. Все знали Манж как тихую женщину, не вмешивающуюся в дела политики. Никому и в голову не могло прийти, что она скрывает у себя коммунаров.

Прошло несколько дней. Все было спокойно. Но Жаклар рвался из дома. Он не мог больше усидеть взаперти. Где Анюта? Кто уцелел из товарищей?

Когда-то они условились с Анютой, что в случае опасности она скроется в подвале у одной надежной консьержки. Теперь он должен пойти туда.

Жаклар вышел на улицу. На домах развевались ненавистные трехцветные флаги. Везде развалины, следы пожаров, поломанные орудия, разрушенные баррикады и тысячи трупов расстрелянных коммунаров. Они лежали всюду — в садах, скверах, на улицах.

Жаклар ускорил шаг. Он был уже недалеко от нужного дома, когда из-за угла вышел патруль — офицер и двое солдат.

Можно было вбежать в ближайший двор. Но это вызовет подозрения. Жаклар смело пошел навстречу патрулю.

Офицер чуть задержался, пристально оглядел Жаклара и прошел мимо. Жаклар спокойно продолжал идти.

В это время из ворот дома вышел священник монмартрской церкви св. Петра. О, он хорошо знал бунтовщиков, которые в его церкви устроили красный клуб! Даже сбритая борода и штатский костюм не обманули его. Подобрав сутану, священник подбежал к патрулю.

— Ловите его! Это бунтовщик!

Жаклар уже скользнул в подворотню ближайшего дома. Он так дешево не отдаст свою жизнь!

По какой-то лестнице он бежал все выше и выше. Он слышал за собой тяжелый топот кованых сапог, свистки и голос офицера:

— Не стрелять! Взять живым!

Жаклар вбежал на чердак. Здесь стоял ящик с песком. Он успел припереть им дверь. Потом вылез в чердачное окно на крышу и притаился у стенки. Внизу — он видел — со всех сторон бежали солдаты. Жаклар вытащил из кармана маленький пистолет, с которым он никогда не расставался.

«Все пули во врагов, последнюю — себе», — подумал он.

Дверь затрещала под напором версальцев. На чердак ворвалось сразу несколько человек.

Жаклар выстрелил. Один из солдат упал. Жаклар выстрелил еще раз. И вдруг он услышал сзади себя шаги.

«Вылезли из другого окна», — мелькнула мысль.

Он не успел обернуться, как сильный удар по голове свалил его с ног. Жаклар потерял сознание.

ГЛАВА XXXV

Ночь. Тускло светят фонари. Прижимаясь к стенам домов, по одной из парижских улиц пробирается закутанная женская фигура. Откуда-то из-за угла послышался стук копыт. Женщина остановилась, прислушалась. Это, наверно, версальский патруль. Надо бы где-то спрятаться.

Женщина добегает до ворот — закрыты, другие — тоже. Куда деваться? На миг ею овладевает безразличие. Не все ли равно? С тех пор, как Виктор взят, она не хочет жить. Пусть ее заберут. Она будет вместе с ним!

Но в следующее мгновение воля к жизни берет верх. Так не должны поступать коммунарки! Жить и бороться, а не складывать оружие!

Женщина оглядывается вокруг и вдруг замечает две статуи у подъезда. Если сзади прижаться к одной из них, может быть, не заметят...

Цокот подков громче. Показались три всадника. Они зорко оглядывают опустевшие улицы. Вот они поравнялись с подъездом, где статуи, и топот копыт все дальше, дальше...

Женщина выходит из-за своего прикрытия и снова идет куда-то в ночь.

Возле небольшого трехэтажного домика она останавливается. В окне второго этажа чуть мерцает огонек свечи. Это условный знак. Видимо, все спокойно. Женщина поднимается по лестнице и тихонько стучит три раза в дверь. Почти сейчас же ей отворяют. Софа, сестренка, бросается ей навстречу.

Анюта устало опускается на стул. Теперь, при свете, заметно, как она похудела. И без того большие глаза ее

запали и стали совсем огромными. На лбу между бровей пролегла глубокая складка.

— Виктор арестован. И Луиза Мишель, и Андре Лео.

Здесь уже знают об этом. Прочли в газете.

— Аня, тебе надо бежать, пока тебя тоже не схватили, — говорит Владимир Ковалевский. — Точно известно, что Лизе Томановской и Франкелю удалось перейти границу.

— Уезжай, Аня, — припав к сестре, говорит Софа. — Все равно ты ничем здесь не сможешь помочь. А мы постараемся спасти Виктора...

Тюремный двор обнесен высокой стеной. Время от времени широко открываются чугунные ворота и под конвоем вводят арестованных. Здесь мужчины, женщины, дети. Уже не хватает мест в камерах. Заключенных помещают прямо тут, во дворе, под открытым небом.

Раз в день им дают тарелку похлебки и кусок черного хлеба. Мучит жажда.

— Пить... — стонет белый как лунь старик, облизывая пересохшие губы.

— Пить захотел, коммунарская рожка? — отзывается полицейский. — Вон иди пей из лужи.

Несколько человек бросаются к луже в конце двора. И вдруг они видят, что это не вода, а кровь. Здесь, у стены, были расстреляны их товарищи.

Полицейский хохочет.

— Что, напились, бунтарское отродье? Или нехорошо питье оказалось? Построиться! Бегом марш! — командует он.

Заключенные бегут по двору круг, другой, третий...

— Быстрее! Быстрее! — кричит полицейский.

Люди в изнеможении хватают ртом воздух. Напрягают последние силы.

И вдруг:

— Ложись! Бегом! Ложись! Бегом!

Тех, кто отстает или не может подняться, полицейский тут же на месте пристреливает.

Наконец раздается команда:

— Отставить! Ферре, Жаклар, Груссе, — вызывает тюремщик видных деятелей Коммуны. — К парашке! Чистить нужники! Остальным убирать двор.

— Ты что на меня так смотришь, поганая образина! — обращается вдруг тюремщик к Жаклару. За этим следует удар прикладом. — Ты у меня еще попляшешь! — Второй удар, третий.

Жаклар стискивает зубы. Спокойно! Надо суметь все перенести.

На другой день несколько человек вызывают на допрос.

Жаклар идет между двух солдат. Он знает — сейчас должно начаться самое страшное. На допросе будут пытаться. Выдержать, все выдержать! Есть предел мучений — смерть. Смерти он не боялся на баррикадах, не побоится и сейчас...

Жаклара вводят в большую комнату. За столом сидит полицейский чиновник. Начинаются формальности. Как фамилия, имя, сколько лет?

— Вы должны сказать, где находятся ваши друзья, и мы оставим вам жизнь, — говорит полицейский.

— Я не знаю.

— Нам известно, что последние дни вы были вместе с Верморелем. Где он сейчас?

— Я уже сказал вам, что не знаю. Больше я на такие вопросы отвечать не буду.

— Но, может быть, вы знаете, где Франкель или Врублевский?

Жаклар молчит.

— Нами арестована ваша жена. Если вы не скажете, где скрываются ваши друзья, ей придется несладко.

Жаклар вздрогнул. «Аннет, неужели и ты попала в руки палачей! Дорогая, любимая... Надо выдержать!»

— Ты будешь наконец отвечать, коммунарская морда! — кричит раздраженно полицейский. — Ничего, мы тебе развяжем сейчас язык! Мы вам покажем коммуноу!

Входят два солдата. С Жаклара срывают одежду и привязывают его к скамейке.

Раз! Свистит железный прут, шомпол, которым прочищают ружья. Жгучая боль пронизывает тело.

Два! Жаклар закусывает губы. Выдержать!

Три! Выдержать во что бы то ни стало!

Четыре! Мысли начинают путаться.

Пять, шесть! Он слышит страшный крик. Жаклар напрягает остатки сознания. Кто это кричит? Неужели он? Нет, нет, он сумеет собрать всю свою волю! Больше они не услышат от него ни звука.

Удары, еще удары... Он теряет сознание.

Жаклара обливают холодной водой.

— Будешь говорить?!

Жаклар молчит. Удары, снова удары...

Жаклар очнулся на каменном полу. Сколько прошло времени с тех пор? Час, два, сутки? Он не помнит. Сознание медленно возвращается. Вокруг — никого. Наверное, его бросили в одиночку.

Жаклар попробовал пошевелить рукой и застонал от боли. Пить, как хочется пить! С трудом он поворачивает голову и вдруг видит на полу в другом углу кружку. Может быть, там есть хоть капля воды! Но как это недостижимо далеко...

Нечеловеческим усилием Жаклар переворачивается на живот и потихоньку ползет. Наконец кружка в его руках. Вода! Там есть вода! Запекшимися губами Жаклар жадно припадает к краю кружки. Он выпивает все до дна и снова впадает в забытие.

Он видит сон. Весна. Цветут каштаны. Солнце плещется в волнах Сены. По берегу легкой походкой идет девушка в белом платье, и ветер развеивает ее волосы цвета спелых колосьев. Жаклар подходит ближе и вдруг узнает — это его Аннет, и платье на ней то, его любимое, в котором она тогда была в Булонском лесу. Аннет улыбается и машет ему рукой. Он так спешит к ней, остается всего несколько шагов...

Неожиданно все вокруг меняется. Налетает ураган. Небо заволакивается черной тучей. Рушатся мосты. Пылают здания. Откуда-то бегут версальские солдаты.

— Уходи! Они тебя схватят! — волнуется Жаклар.

И вдруг он видит, что это совсем не Аннет. Сама Франция, Марианна, истерзанная, полуобнаженная, со связанными назад руками, идет сквозь дым пожаров, и ноги ее по колена в крови. А сбоку от нее карлик Тьер беснуется, надрывается.

— Взять ее! Расстрелять! — кричит он солдатам.

Но женщина метнула грозный взор на Тьера — и вот уже нет Тьера, исчез.

Вокруг безбрежное море. Жаклару кажется, что он на корабле. Серебряные паруса блестят на солнце. Корабль качается на волнах. Ветер крепчает. Высокие водяные валы с гребешками белой пены обрушиваются на палубу. Корабль кидает из стороны в сторону. «Качает его, но он не тонет!» — вспоминает Жаклар с детства знакомые слова, эмблему великого города.

— Нет, не утонем! — шепчет он. — Коммуна будет жить в веках!

Скрипит дверь на ржавых петлях. Входит тюремщик и ставит перед Жакларом миску жидкого супа. Бросает пакет.

— Передача, — говорит он.

Жаклар приоткрывает опухшие веки. Пакет? Но как могли переслать? Ведь ему передачи запрещены. И от кого? Может быть, Аннет на свободе? Или это Манж?

Преодолевая боль, он тянется к пакету. Развертывает. Булка, колбаса и кусок пирога. Нет, есть он не хочет. Может быть, потом...

Вдруг у него неясно мелькает какая-то мысль. Он поспешно хватает булку, крошит ее на мелкие кусочки. Но там ничего нет. Разламывает пирог... В начинке едва заметный клочок свернутой папиросной бумаги! На нем всего несколько слов:

«Анюта вне опасности. Принимаем меры к твоему спасению.

С.».

Анюта вне опасности! Каким сильным он сразу себя почувствовал! Теперь ему ничего не страшно. Эта записка от Софы. Она и Владимир, наверно, помогли Анюте, остаются сейчас здесь для него, рискуя своей свободой и жизнью. И хотя вряд ли они смогут что-то сделать, как хорошо иметь таких друзей, искренних, преданных, настоящих.

Раз в день на полчаса узников выводят на прогулку. Они идут гуськом, друг за другом, с заложенными за спину руками.

— Ну, ты, пошевеливайся, что отстаешь! — Часовой приблизился к Жаклару, толкнул.

Ну что ж, дело привычное. Но что это? Или ему показалось? Как будто часовой что-то положил ему в карман арестантской куртки. Жаклар опускает руку, но тут же вспоминает, что этого делать нельзя.

В первый раз за все время он не может дождаться конца прогулки. Но вот он в камере. Записка.

«В это воскресенье тебе разрешат свидание. Зайди в уборную. Там за перекладиной будет лежать костюм и бритва. Побрейся, переоденься. В кармане пропуск на выход. У ворот будут ждать. Часовому Тишару можно верить».

Он вдруг почувствовал слабость. У него закружилась голова. В воскресенье? Какой же сегодня день? Он в

тюрьме уже больше трех месяцев и совсем потерял счет времени. Сейчас он узнает, постучит к соседу...

Воскресенье. Пять часов вечера. Начинается впуск родных. Свидания происходят в тюремном дворе.

Жаклар ждет. Он то садится, то вскакивает, шагает по камере, прислушивается у двери.

Топот тяжелых сапог по коридору. К нему... Гремит замок в соседней камере. Тишина. Опять шаги. И снова — мимо. О, наверно, не удалось! Наверно, раскрыли...

Но вот: «Жаклар, на свидание. Живо!»

Жаклар выходит во двор. Здесь возле заключенных стоят их родственники, друзья. Рядом расхаживают часовые.

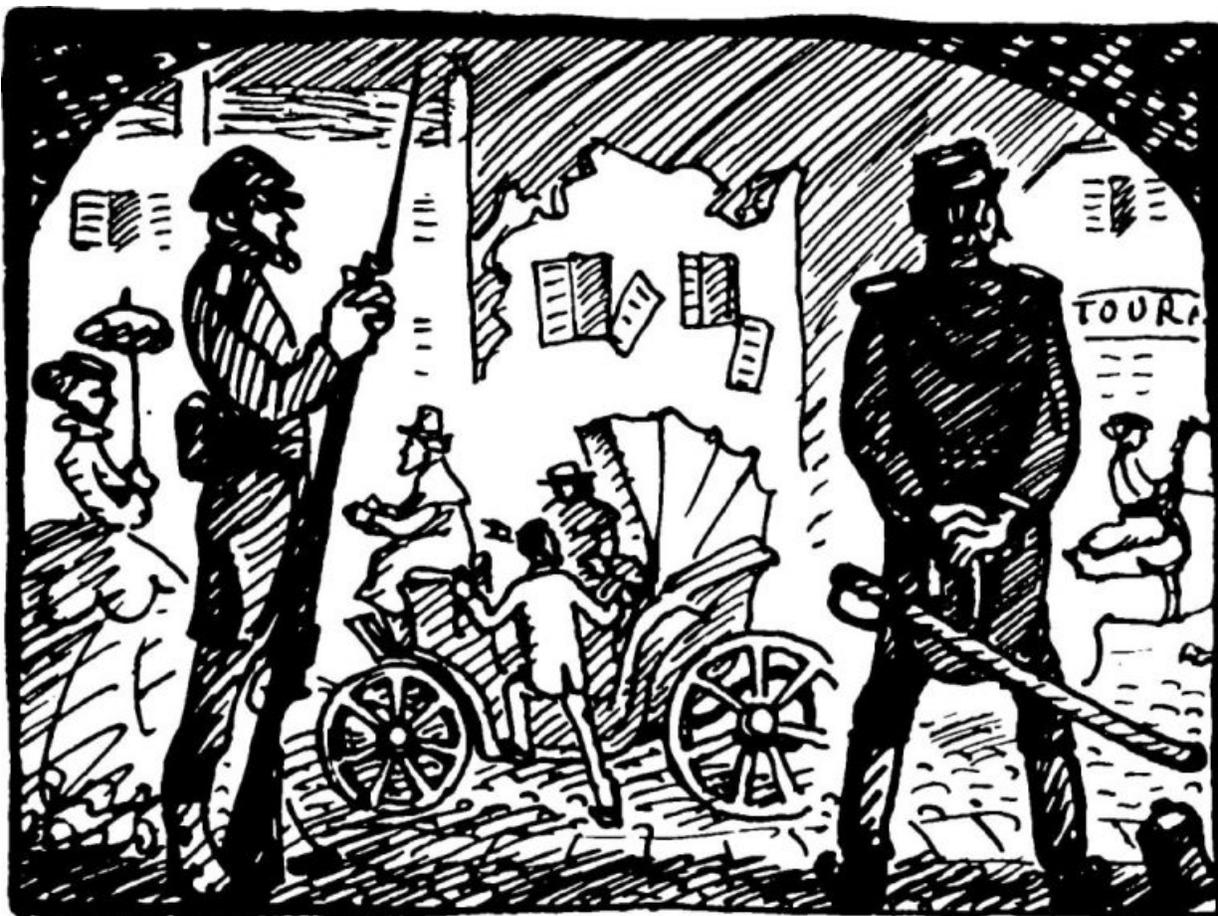
— Мне нужно в отхожее, — говорит Жаклар, схватившись за живот.

Одних арестованных туда не пускают. Часовой идет вместе с Жакларом и становится у двери. Но это тот, кому можно доверять!

Через четверть часа чисто выбритый, изящно одетый молодой человек, видимо, окончив свидание с арестованным, прошел через ворота тюрьмы, сдав пропуск на имя Ковалевского Владимира Онуфриевича. У ворот тюрьмы он сел в поджидавшую его коляску и уехал.

Вечером на поверке побег Жаклара обнаружился. Поднялась суматоха. Скрылся важный государственный преступник! Бежал! И это в такой день, когда вдвое усилена охрана. Неслыханная дерзость!

Сообщили во все полицейские части. На вокзалах и пристанях устроили облавы.



А в это время поезд уже увозил Жаклара с паспортом Ковалевского в кармане по направлению к швейцарской границе.

Царь Александр II подошел к столу, снова взял донесение Третьего отделения. Он негодовал. Кажется, делается все возможное! Чернышевский до сих пор в ссылке. Недавно, благодарение богу, засыпали, наконец, землей этого старого бунтаря, Герцена, не трезвонит больше его проклятый «Колокол»! Главари студентов брошены в казематы. Высшее образование женщинам запрещено, даже приказано всем заграничным

курсисткам вернуться в Россию. Откуда же крамола? Среди народа распространяются столь возмутительные листки!

«...В Париже течет ручьями кровь, пылают по всем улицам страшные пожары и геройское население — тут и старики, и женщины, и дети — бьется насмерть с версальскими разбойниками... Откликнитесь, честные люди, откликнитесь на ваших местах погибающему Парижу, чтобы, умирая, он знал, что дело его возобновят и так же смело и героически поведут вперед».

Отпечатано в типографии и подписано «Коммунист».

— Я ему покажу, этому коммунисту! — вслух сказал царь. — В России — коммунисты! Не бывать такому! Эта зараза идет с запада, от какого-то их нового пророка, Маркса!

Царь сел за стол. Что-то противно задергалось в правом виске. Александр поднял руку, прижал. Сколько раз ему говорил лейб-медик — не волноваться. Но разве это возможно!

Все бурлит, как на вулкане! Еще счастье, что удалось подавить пожар во Франции. Искры могли залететь в другие страны!

И здесь не обошлось без русских. Главное, женщины, что им надобно?! Сидели бы дома с мужьями и детьми. Нет, лезут в драку! И подумать только — кто! Дочь всеми уважаемого генерала. Какая-то Елизавета Дмитриева, личность еще не установлена, но по слухам княжна. Бартенева, тоже дворянка...

Царь взял со стола еще один листок, донесение секретаря русского посольства во Франции, Обрескова.

«...Достойная супруга некоего Жаклара... была замешана в насилиях Коммуны, в арестах и последних неистовствах сопротивления».

— Это про дочь генерала Корвин-Круковского! А вот еще одно сообщение...

«Я знал, что эта опасная женщина, русская подданная, уже давно бросилась в социалистическое движение, что она интересовалась больше действиями Коммуны, чем ранеными своего походного госпиталя, и что она принимала активное участие в беспорядочных манифестациях. Она организовала в мэрии десятого округа Центральный женский комитет, имевший целью содействие защите Парижа, и можно было предвидеть, что она сыграет заметную роль в конечном периоде восстания. Действительно, 23 мая, когда армия атаковала этот квартал, Елизавету Дмитриеву видели на баррикадах, она воодушевляла федератов на сопротивление, раздавала им амуницию и сама стреляла, стоя во главе около пятидесяти мегер. Считаю достоверным, что она содействовала словом и делом пожарам, обездолившим Париж.

Какова судьба этой сумасшедшей? Казнили ли ее среди других, не установив ее личности? Перевезли ли ее в Версаль и оттуда в какой-нибудь морской порт под ложным именем, выдуманным ею самой? До сих пор невозможно узнать что-либо на этот счет».

Царь дочитал депешу и заходил по кабинету.

— Сумасбродство и фанатизм! — опять вслух сказал он. — Нет, мы еще недостаточно тверды. Либеральничаем! Надо принять самые жесткие меры! Усилить охрану на границе!

Они задумчиво стоят возле красного знамени, те, кто, не жалея своих жизней, защищал его до конца.

— Коммуна потоплена в крови, но не побеждена, — говорит старый Беккер. — Это продырявленное пулями, обогренное кровью знамя понесут через века потомки коммунаров, отважные французы, и немцы, и русские.

Оно будет вдохновлять на борьбу поляков, и итальянцев, и негров из далекой Африки. Это знамя всегда будет символом свободы, равенства и братства на земле.

— Да, я верю, недаром принесено столько жертв, — говорит Лиза.

Они вспоминают своих товарищей, своих дорогих друзей, которые пали на баррикадах, и тех, кто томится в тюрьмах.

— Если б мы сразу арестовали правительство Тьера, может быть, все было бы иначе, — говорит Жаклар.

— Это ясно теперь, но тогда это казалось неблагородным, — отвечает Анюта.

— Подвиг коммунаров бессмертен, — говорит Утин. — Маркс пишет, что история не знает подобного героизма. Но это только начало мировой борьбы.

— Да, еще будет последний и решительный бой! — говорит Катя Бартенева.

Это слова Эжена Потье, коммунара, поэта рабочих окраин, их товарища, который сражался с ними рядом на баррикадах. Вдохновленный великой Коммуной, он написал стихи:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем...

Эти стихи еще не напечатаны, их переписывают друг у друга, знают наизусть. Но скоро они станут песней, великим гимном, который зазвучит на весь мир и

поведет за собой угнетенные народы на борьбу за свободу и счастье.

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!



53 коп.



Внимание!
Текст предназначен только для
предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

notes

Примечания

1

«Тампль Юник» — «Храм единства». Название сохранилось с того времени, когда это здание принадлежало женскому монастырю Тампль Юник.

2

«Альянс» — союз.

3

Так они назывались, по фамилии рабочего Лудда, якобы первого разбившего свой ткацкий станок. Теперь установили, что Лудд — фигура вымышленная.

4

По-английски «хартия» — «чартер». Отсюда название «чартисты».

Имущественный ценз — когда правом выбирать и быть избранными пользовались только люди, имевшие имущество: дома, фабрики, землю.

Фригийская шапка, или **фригийский колпак**, — головной убор, который в Греции и Риме надевали на рабов, отпускаемых на волю. Во время французской революции 1789 года фригийский колпак стал символом свободы.

Альтернатива — необходимость выбора одного или двух (или нескольких) возможных решений.

8

Марианна — народное название Франции.

9

Шаспо — название ружья, применявшегося в то время во французской армии.

10

Консьержка — привратница, сторож у входа.